

Глава 5. Как удержать государство на расстоянии. Заселение горных районов

“ Если пагода построена — страна разрушена.

— Бирманская пословица

“ Когда растущее сообщество, захватывая новую территорию, изгоняет прежних жителей (или часть из них), вместо того чтобы поглотить их в качестве собственных членов, изгнанные могут создать на территории, где они расселились, новый тип общества.

— Оуэн Латтимор. Роль границ в истории

Комиссия 9/11, докладывая о результатах расследования террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году, обратила внимание на новое местоположение источника террористической угрозы. Теперь таковая исходит не от некоего враждебного национального государства, а из «убежищ» в «наименее управляемых, находящихся вне закона», «самых отдаленных», «обширных, не контролируемых полицейскими службами районов» в «труднодоступной местности»[335]. Выли даже названы конкретные убежища террористов, такие как Тора-Вора и Шахи-Кот недалеко от пакистано-афганской границы и «слабо контролируемые полицией» острова к югу от Филиппин и Индонезии. Комиссия прекрасно понимала, что сочетание географической удаленности со сложным рельефом и прежде всего относительное отсутствие государственной власти позволяют этим районам упорно не подчиняться Соединенным Штатам или их сторонникам. Что комиссия не сумела понять, так это то, что большая часть нынешнего населения этих непокорных территорий, ставших прибежищем террористов, оказалась здесь именно потому, что эти районы в прошлом долгое время были зоной бегства от государства.

Так же как относительно безгосударственные отдаленные регионы стали убежищем для Усамы бен Ладена и его сторонников, обширные горные районы в материковой части Юго-

Восточной Азии, которые мы называли Вомией, были историческим прибежищем для всех беглецов от государства. В длительной ретроспективе — под «длительной» я имею в виду пятнадцать веков или даже две тысячи лет — разумно рассматривать живущие сегодня в горах народы как результат затяжного процесса *таттоппаде* (одичания), то есть как потомков беглецов от проектов государственного строительства в долинах. Их сельскохозяйственные практики, социальная организация, структура управления, легенды и культурные особенности несут на себе явный отпечаток усилий по ускользанию и дистанцированию от государства.

Подобная интерпретация, в соответствии с которой горы до недавнего прошлого заселялись благодаря миграционным процессам, обусловленным бегством от государства, резко расходится с прежними представлениями, отголоски которых прослеживаются в народных верованиях населения долин. Они утверждают, что горные жители — это коренное население горных районов, которое по тем или иным причинам не смогло осуществить переход к более цивилизованному образу жизни: к оседлому сельскому хозяйству в виде поливного рисоводства, к религиозным верованиям равнин и к членству (в качестве подданных или граждан) в крупных политических образованиях. В самой радикальной версии этого цивилизационного нарратива горные народы выступают неспособными измениться чужаками, которые живут в некоем подобии высокогорного отстойника, а потому по определению непригодны и неспособны к культурному развитию. Более благодушная версия того же нарратива, которая сегодня оказалась доминирующей, видит в населении горных районов «отставших» с точки зрения духовной и материальной культуры (возможно, даже «наших живых предков») и утверждает необходимость прилагать максимальные усилия по их развитию и интеграции в культурную и экономическую жизнь страны.

Если же мы, наоборот, что более корректно, определяем население Вомии как комплекс народов, которые в то или иное время предпочли переместиться за пределы досягаемости государственной власти, то предлагаемая доминирующим цивилизационным нарративом эволюционная последовательность оказывается несостоятельной. Горная жизнь тогда оказывается в значительной степени эффектом государства, определяющей характеристикой общества, созданного теми, кто по каким бы то ни было причинам оставил область прямого государственного управления. Как будет показано ниже, подобная трактовка горных народов как отвергающих государство или даже антигосударственных сообществ позволяет лучше понять и объяснить присущие им типы сельскохозяйственных практик, культурные ценности и социальную структуру.

Логика демографического освоения гор, несмотря на туманные и отрывочные сведения о самых ранних его периодах, предельно понятна. Расцвет на равнинах мощных рисовых государств, подавляющих своим демографическим и военным превосходством небольшие соседние сообщества, породил одновременно два противоположных процесса: с одной стороны, поглощение и ассимиляцию, с другой — выталкивание и бегство. Поглощенные народы исчезли с лица земли как отдельные сообщества с особыми характеристиками, хотя и одолжили свой оттенок той амальгаме, что стала общей культурой равнинного государства. Вытесненные или сбежавшие сообщества обычно направлялись в отдаленные убежища в глубине страны, нередко на больших высотах над уровнем моря. Эти зоны

бегства, куда устремлялись отказавшиеся от государственной жизни сообщества, отнюдь не были пустынными и необжитыми, однако в длительной исторической перспективе демографическое преимущество ускользающих от государств мигрантов и их потомков стало очевидным. Вероятно, в далеком прошлом заселение горных районов происходило урывками. Периоды династического мира и расширения торговли, как и эпохи успешного разрастания империй, увеличивали население, искавшее покровительства сильной государственной власти. Общепринятый нарратив «цивилизационного процесса», рисуемый его в розовых тонах, хотя он вряд ли был столь уж благотворен и добровольен, в принципе соответствует реалиям подобных исторических периодов. Однако в годы войн, неурожаев, голода, чудовищно обременительных налогов, экономического упадка или оккупационного положения преимущества социального существования за пределами досягаемости равнинных государств оказывались исключительно привлекательными. Отток населения долин в зоны бегства, обычно в горы, где, казалось, сами особенности местности укрывают от государства, сыграл ключевую роль в заселении Вомии и социальном конструировании уклоняющихся от государств сообществ. На протяжении двух последних тысячелетий миграционные процессы подобного рода были постоянны — и в небольших, и в огромных масштабах. Каждая новая миграционная волна порождала столкновение тех, кто только переместился в горные районы, с теми, кто уже давно здесь поселился. Конфликты, слияние и переопределение идентичностей на этих малоуправляемых пространствах в значительной степени обусловили этническое многообразие Вомии. Но поскольку эти процессы не считались достойными включения в саморепрезентационные тексты равнинных государств, они редко фиксировались в исторических хрониках, хотя вплоть до начала XX века были вполне повседневными. Как будет показано позже, даже сегодня они продолжаются, хотя в существенно меньших масштабах, чем прежде.

Одно государство в большей степени, чем все остальные, было движущей силой перемещения множества народов, поглощая часть из них. По крайней мере с начала экспансии Ханьской империи на юг от Янцзы (202 год до н. э. — 220 год н. э.), когда китайское государство впервые стало великой аграрной империей, затем, пусть рывками, но весь исторический путь к династии Цин и ее наследникам, к республике и Китайской Народной Республике стремящееся избежать поглощения государством население перемещалось на юг, запад, а затем на юго-запад в Вомию — провинции Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и регионы Юго-Восточной Азии. Другие рисовые государства, возникшие позже, пытались воспроизводить те же процессы государственного строительства, хотя и в меньших масштабах, и иногда оказывались стратегическим препятствием на пути китайской экспансии. Бирманские, сиамские, вьетнамские и тибетские государства были весьма выдающимися, но все равно входили в низшую лигу, тогда как множество менее значительных по размерам рисовых государств, которые недолго играли такую же роль (Наньчжао, Пиу, Лампхун/Харипунджайя и Чёнгтун — лишь некоторые из них), вошли в историю. Будучи машинами по захвату и поглощению населения для обеспечения себя рабочей силой, они так же и теми же способами извергали из себя спасающихся от государства в горных районах и создавали собственные «варварские» периферии.

Важная роль гор как убежища от множества тягот жизни подданных государства не осталась незамеченной. Как писал Жан Мишо, «в определенной степени горцев можно считать беженцами, перемещенными в ходе войны лицами, которые предпочли остаться за

пределами прямого управления государственных властей, стремящихся контролировать труд и налогооблагаемые ресурсы и обладать безопасным доступом к населению, чтобы рекрутировать солдат, слуг, наложниц и рабов. Таким образом, горцы всегда были в бегах»[336]. Замечание Мишо, если учесть все подтверждающие его исторические, агроэкологические и этнографические свидетельства, формирует мощную оптику для восприятия Вомии как обширной сопротивляющейся государству периферии. Задача этой и двух последующих глав — в общих чертах обрисовать, на чем основана разрешающая способность предложенной аналитической оптики.

Иные регионы бегства

Предлагаемая нами модель объяснения феномена Вомии отнюдь не нова. Аналогичные процессы происходили во многих регионах мира, больших и малых, где разрастающиеся царства вынуждали перепуганное население выбирать одно из двух — поглощение или сопротивление. Там, где испуганные люди самоорганизовывались в некие подобия государств, сопротивление могло выливаться в военное противостояние. В случае поражения побежденные поглощались или мигрировали куда-то еще. Если оказавшееся перед угрозой поглощения население не имело государственных образований, то имевшийся у него выбор обычно сводился к поглощению или бегству, причем последний вариант нередко сопровождался арьергардными стычками и набегами[337].

Подобную аргументацию для Латинской Америки примерно тридцать лет назад предложил Гонсало Агирре Вельтран.

В своей книге «Регионы бегства» он утверждает, что некое подобие существовавшего до Конкисты общества сохранилось в отдаленных, недоступных регионах далеко от центров испанского контроля. Их размещение определялось двумя соображениями. Во-первых, это были районы, мало или вообще неинтересные испанским колонизаторам с экономической точки зрения. Во-вторых, это были географически неприступные зоны, где сопротивление ландшафта было чрезвычайно сильным. Агирре Вельтран называет в качестве таковых «сельскую местность, изолированную от транспортных путей физическими преградами, с суровым пейзажем и скудными сельскохозяйственными урожаями». Этим характеристикам соответствовали три природные зоны: пустыни, тропические джунгли и горные хребты, которые были «враждебны или недоступны для передвижений человека»[338]. По мнению Агирре Вельтрана, коренное население этих районов — в основном потомки не столько тех, кто был вытеснен или бежал сюда, сколько тех, кого колонизаторы оставили здесь в покое, потому что эти зоны не представляли для испанцев никакого экономического интереса или военной угрозы.

Агирре Вельтран учитывает тот факт, что часть местного населения была вынуждена в результате испанских захватов покинуть свои поля и укрыться в безопасности отдаленных районов, которые были наименее привлекательны для поселенцев ладино (испано-индейских метисов)[339]. Впрочем, последующие исследования отметили значительно большую роль бегства и укрывательства для заселения данных территорий. В отдаленном прошлом некоторые, если не большинство «коренных» жителей, о которых пишет Агирре

Вельтран, на самом деле когда-то прежде были оседлыми земледельцами в рамках весьма социально стратифицированных обществ, но вследствие испанского давления и чудовищного демографического коллапса, вызванного эпидемиями, были вынуждены переформатировать свои общества таким образом, который способствовал их адаптации и мобильности. Например, Стюарт Шварц и Фрэнк Саломон пишут о «нисходящих изменениях в модальном размере групп, [меньшей] строгости систем родства и [меньшей] социально-политической централизации», которые превратили население сложных прибрежных систем рек в «совершенно разрозненных сельских жителей». То, что позже стало считаться отсталым, почти неолитическим, племенным строем, при более детальном рассмотрении оказывается исторической адаптацией к опасной политической ситуации и принципиально иным демографическим условиям[340].

Современная версия исторического процесса, зафиксированная Шварцем и Саломоном, постулирует массовые передвижения населения и этнические перегруппировки. В Бразилии местные жители, сбегавшие из колониальных *reducciones* (резерваций) и от принудительного труда в миссионерских общинах, «выжившие жители разграбленных деревень, метисы, дезертиры и сбежавшие черные рабы» часто объединялись на границах, называли себя так же, как коренные жители, среди которых они селились, и иногда принимали новую идентичность[341]. Как и азиатские рисовые государства, испанские и португальские управленческие проекты требовали контроля над имевшейся в наличии на государственном пространстве рабочей силой. Конечным результатом бегства местных жителей от принудительного расселения стало формирование водораздела между государственным пространством, с одной стороны, и сопротивляющимся государству населением, перемещавшимся в географически недоступные ему районы, нередко на больших высотах над уровнем моря, — с другой. Учитывая чудовищный демографический коллапс, случившийся в Новом Свете, сходство здешней ситуации с юго-восточно-азиатской просто поразительно. Описывая *reduccion* (процесс переселения в деревни индейцев) в 1570 году, Шварц и Саломон утверждают, что испанцы

“ осуществляют насильственное переселение индейцев в зарождающиеся церковные приходы вследствие сокращения населения и в целях удовлетворения потребности колониальных властей в рабочей силе. Это привело к перемещению тысяч индейцев и перегруппировке населения по всем прежним, районам проживания инков. Проекты концентрации рассеянных поселений земледельцев и скотоводов в едином формате городов европейского стиля, редко оказывались столь успешными, как планировалось, но их последствия были вполне однотипными, если не сказать единообразными. Эти проекты неизбежно приводили к длительному противостоянию отдаленных районов/высоких склонов и «цивилизованных» приходских центров... Сокращение численности населения, кабальные размеры, дани и режим квотирования принудительного труда, вынудили тысячи людей оставить свои дома и перетасовали все население[342].

В Андах резкий контраст между центрами цивилизации и «отдаленными районами коренного населения», видимо, имел в доколониальном прошлом свой аналог — водораздел между королевскими дворами инков и сопротивлявшимся их власти населением периферии. Но принцип высотности размещения в данном случае работал иначе: государственные центры инков располагались на больших высотах, тогда как периферия, наоборот, — в низинах, влажных экваториальных лесах, чьи жители в течение долгого времени не сдавались инкам. Это обратное соотношение — важное напоминание о том, что ключевым фактором государственного строительства в досовременную эпоху была концентрация пахотных земель и рабочей силы, а не сама по себе высотность над уровнем моря. В Юго-Восточной Азии больше всего подходящих для поливного рисоводства земель расположено на более низких высотах, а в Перу, наоборот, земли менее плодородны на высоте ниже двух тысяч семисот метров, где буйно разрастается не поливной рис, а кукуруза и картофель — основные продукты Нового Света[343]. Несмотря на обратное соотношение высотности и возникновения центров государственности в цивилизации инков, их государства, как и испанские, породили сопротивляющуюся им «варварскую» периферию. Наиболее удивителен и поучителен в испанской колонизации тот факт, что созданная ею варварская периферия состояла из людей, бегущих из сложных оседлых сообществ, совершенно сознательно выбравших жизнь вдали от опасностей и притеснений государственного пространства. Для этого им приходилось оставить свои постоянные поля, упростить социальную структуру, распасться на более мелкие и мобильные группировки. По иронии судьбы им превосходно удавалось дурачить первое поколение этнографов, которые поверили, что рассеянные народы, например яномамо, сирионо и тупи-гуарани, были уцелевшими остатками примитивных сообществ.

Население, которому удалось отбиться от европейского контроля, на время сформировало зоны неподчинения. Эти осколочные зоны, особенно если они были богаты продовольственными ресурсами, как магниты, притягивали отдельных личностей, небольшие группы и целые сообщества, которые искали прибежища вне пределов досягаемости колониальных властей. Шварц и Оаломон показали, как живаро и соседние с ними запаро, отбившие нападения европейцев и установившие контроль над несколькими племенами-данниками в верховьях Амазонки, обрели подобную притягательную силу магнита[344]. Неизбежные последствия демографического притока обусловили специфическую характеристику большинства регионов бегства: лоскутность поразительно сложных идентичностей, этничностей и культурных амальгам.

В Северной Америке в конце XVII и почти на всем протяжении XVIII века регион Великих озер был зоной бегства и притока населения, поскольку Британия и Франция боролись за господство силами своих союзников среди коренных американцев, прежде всего ирокезов и алгонкинов. Регион просто кишел беглецами и беженцами из множества районов. Ричард Уайт назвал эту зону «миром, сотканным из осколков»: здесь соседствовали деревни, жители которых имели абсолютно несхожее происхождение, и другие поселения со смешанным составом населения, заброшенного сюда силой обстоятельств[345]. В подобных условиях власть даже на уровне отдельной деревушки была очень шаткой, а сами поселения — крайне нестабильны.

Оплетенное воедино самым невообразимым образом этническое многообразие в зонах бегства в Новом Свете еще более усложнилось с притоком беглецов из нового населения, завезенного сюда именно для того, чтобы компенсировать неудачную попытку закабалить коренных жителей: в основном речь идет об африканских рабах. Поскольку рабы, будучи, конечно, сами по себе многоликой и многоязычной группой, также спасались от закабаления, они оказывались в регионах бегства, уже занятых коренными жителями. Во Флориде, Бразилии, Колумбии и многих районах Карибского бассейна это столкновение привело к формированию разнородного населения, которое не поддается простому описанию. Кроме того, рабы и коренные жители не были единственными, кто не смог устоять перед искушением жить на расстоянии от государства. Искатели приключений, торговцы, бандиты, беглецы от закона, изгои — типичные фигуры для большинства приграничных районов — также прибывали к этим пространствам и еще больше усугубляли их и без того исключительную сложность.

Здесь также можно обозначить условную историческую модель. Расширение государства, если оно подразумевало принудительный труд, способствовало (если позволяли географические условия) росту межгосударственных зон бегства и спасения. Жители подобных зон — это обычно сложное сочетание беглецов и поселившихся здесь прежде народов. Европейская колониальная экспансия, безусловно, предоставляет наилучшим образом задокументированные примеры этой модели. Однако она применима и к ранним этапам развития современной Европы. Казачьи поселения на границах Российской империи, формировавшиеся из беглых крепостных с XV века, — яркий пример того, о чем идет речь и к чему мы вернемся позже.

Второй пример — «коридор вне закона», образовавшийся в конце XVII — начале XVIII века между аграрными государствами Пруссии и Вранденбурга и морскими державами Венеции, Генуи и Марселя, — особенно показателен [346]. Конкуренция аграрных государств за новобранцев вела к постоянным облавам на «бродяг» — фактически на всех, кто не имел постоянного места жительства, — чтобы выполнить драконовские квоты вербовки. Цыгане, самые стигматизированные и преследуемые из нищих бродяг, были объявлены преступниками и стали объектом печально известной «Охоты на цыган» (*Zegeuner Jagt*). На юго-западе Европы столь же жестокая борьба развернулась между морскими державами за галерных рабов, число которых также пополнялось за счет принудительной вербовки беднейших бродяг. Военная служба или работа на галерах в каждой из обозначенных территориальных зон были узаконенной альтернативой смертной казни, и облавы на бродяг по времени всегда совпадали с острой необходимостью в военном пополнении.

Между двумя зонами принудительного закабаления пролегла небольшая полоска относительной свободы, куда сбегали многие кочующие бедняки, особенно цыгане. Это была ничейная земля, узкая зона бегства, которая получила название «коридор вне закона». Фактически он представлял собой скопление мигрантов «между Палатинским холмом и Саксонией, которое было слишком отдалено от прусско-бранденбургской зоны военной вербовки, а также от Средиземноморья (в последнем случае расходы на транспортировку превышали стоимость одного раба)» [347]. Как и зоны бегства, описанные Агирре Бельтраном, и все беглые сообщества в целом, «коридор вне закона» был эффектом государства и в то же время противостоявшим ему социальным пространством,

появившимся как сознательный ответ и сопротивление подчинению[348].

Прежде чем мы перейдем к Вомии, рассмотрим два заслуживающих хотя бы краткого упоминания примера «горных» беглецов от государственного контроля в Юго-Восточной Азии. Первый — зоной бегства стали горы Тенгер на востоке острова Ява — пример того, насколько важную роль в мотивах миграции играют соображения сохранения культурной и религиозной самобытности[349]. Второй пример — достаточно исключительный случай Северного Лусона, где зона спасения от государства, куда устремлялись беглецы, прежде была практически необитаема.

Горы Тенгер примечательны тем, что стали на острове Ява основным оплотом неисламского, шиваитского культа буддийской традиции: единственный из всех местных культов, он смог избежать поглощения волной исламизации, которая последовала за крушением последнего крупного индо-шиваитского королевства (Маджапахит) в начале XVI века. Местные источники утверждают, что основная часть побежденного населения переселилась на Вали, а небольшая — укрылась в горах. Как отмечает Роберт Хефнер, «удивительно, что нынешние жители гор Тенгер сохранили столь сильную приверженность индуистскому культу, хотя у них отсутствуют иные отличительные черты индуизма: касты, королевские дворы и аристократия»[350]. Население гор периодически пополнялось благодаря новым волнам мигрантов, ищущих спасения от равнинных государств. Когда в XVII веке в долине возникло королевство Матарам, оно неоднократно посылало экспедиции в горы для захвата рабов, вынуждая тех, кто избежал плена, перемещаться выше по склонам в поисках относительной безопасности. В 1670-х годах мадурский принц поднял мятеж против Матарамы, ставшего голландской колонией, но восстание было разгромлено, и рассеянные мятежники устремились в горы, убегая от голландских преследователей. Другой бунтарь и основатель Пасуруана, бывший раб Оурапати, был также разгромлен голландцами, но его потомки в течение многих лет продолжали сопротивление из своих крепостей в горах Тенгер. Пример заселения гор Тенгер как результат того, что Хефнер называет 250 годами политического насилия, как следствие скопления беглецов — от рабства, военных поражений, налогов, культурной ассимиляции и принуждения к земледелию в годы голландской колонизации — просто потрясающий.

К концу XIX столетия значительная часть населения переместилась еще выше — в места, которые были труднодоступны и хорошо обороняемы, но исключительно рискованны с экономической точки зрения. Факт бегства ежегодно отмечается немусульманскими жителями гор, которые кидают свои подношения в вулкан в память о спасении от мусульманских армий. Несмотря на свой индуизм, местные жители создали особую культуру, основанную на традициях независимых домохозяйств, на уверенности в собственных силах, самообеспечении и неприятии социальных иерархий. Резкий контраст этих культурных традиций с устойчивыми особенностями жизни в долинах поразил офицера, впервые инспектировавшего местное лесное хозяйство: «Вы не смогли бы отличить богатого от бедного. Все разговаривали одинаково, причем со всеми, невзирая на социальные позиции. Дети разговаривали со своими родителями и даже с вождем деревни на обычном *пдоко*. Никто никому не кланялся в пояс и не склонял головы»[351]. Как отмечал Хефнер, основная цель жителей гор Тенгер — не допустить, чтобы тобой «командовали/помыкали»; и это стремление совершенно расходится с принятыми в

яванских долинах детально продуманными системами иерархий и статусно-кодифицированного поведения. И демография, и этос гор Тенгер, соответственно, могут справедливо считаться эффектом государства — это географическое пространство в течение половины тысячелетия заселялось ускользящими от государства беженцами с долин, чьи эгалитарные ценности и индуистские обряды совершенно сознательно были спроектированы как полная противоположность социальному устройству чувствительных к чинам и званиям и исповедующих ислам жителей долин[352].

Второй исторический пример из островной части Юго-Восточной Азии структурно воспроизводит ту модель, которой я хочу воспользоваться для анализа Вомии, — горные районы Северного Лусона. Как и горы Тенгер, Северный Лусон можно рассматривать как мини-вариант Вомии, заселенный в основном беглецами, не желающими подчиняться власти равнинных государств.

В своей «Этноистории Северного Лусона», тщательно снабженной документальными свидетельствами, Феликс Кисинг ставит перед собой задачу обозначить культурные и этнические различия между жителями нагорий и равнин. Он сразу отвергает концепции, базирующиеся на посылке об эссенциалистских, примордиалистских различиях двух групп, — она бы потребовала разработки двух совершенно разных миграционных историй, чтобы объяснить их присутствие на острове Лусон. Наоборот, Кисинг полагает, что различия этих групп складывались в ходе длительной испанской колонизации и обусловлены «экологической и культурной динамикой, сказавшейся на изначально едином населении»[353]. Иными словами, опять перед нами результаты бегства от государства, случившегося более пятисот лет назад.

Однако еще до прибытия испанцев в XVI веке некоторая часть островного населения переместилась во внутренние районы, скрываясь от набегов мусульманских рабовладельцев на побережья. Оставшиеся жить в прибрежных районах нередко возводили на берегах сторожевые башни, чтобы сразу же извещать население о приближении работорговцев. Причин для избегания закабаления стало многократно больше, когда испанцы обосновались на острове. Как и в рисовых государствах, здесь также основой государственного строительства была концентрация населения и сельскохозяйственного производства на ограниченном пространстве[354]. Монастырские усадьбы, как и миссионерские общины (*reducciones*) в Латинской Америке, стали инструментами принуждения к труду, слегка завуалированными идеологическими претензиями на роль «цивилизации, обращающей в христианство». Из этих «домов принуждения» равнинных государств население бежало во внутренние районы и горы, которые, как полагает Кисинг, на тот момент были практически не заселены. Он утверждает, что, согласно документальным свидетельствам, «группы местных жителей оказывались перед выбором — либо подчиниться иностранному управлению, либо отступить вглубь страны. Некоторые предпочли скрыться в глубине страны, другие отступили в горные районы в ходе случавшихся время от времени восстаний против испанского правления... В годы испанской колонизации бегство населения в горы стало основной темой в рамках изучения исторического прошлого по всем девяти направлениям исследований»[355].

В большинстве своем жители нагорий когда-то прежде жили на равнинах, и их бегство высоко в горы запустило сложный и многоаспектный процесс дифференциации[356]. В новых экологических условиях разнообразные группы беженцев выработали новые жизненные практики. Например, ифугао создали весьма изощренную систему террасирования на больших высотах над уровнем моря, которая позволила им продолжить выращивание поливного риса. Большинство других групп перешло от оседлого зернового земледелия к подсечно-огневому и/или к собирательству. Когда через много лет эти группы были обнаружены иностранцами, они сочли их фундаментально иными, чем жители равнин, народами, которые не смогли перейти на следующую после «примитивных» хозяйственных практик ступень развития. Кисинг предупреждает о необоснованности и бессмысленности столь удобного убеждения, что сегодняшние собиратели неизбежно были собирателями и сотни лет назад — с тем же успехом они могли быть и земледельцами. Разнообразные сроки множества миграционных волн, их распределение по различным высотам и выбор несхожих образов жизни, по мнению Кисинга, определили феноменальную мозаичность горного этнопейзажа в противовес равнинному однообразию. Он предлагает схематичное объяснение, как могла произойти подобная этническая дифференциация: «Простейшая теоретическая модель... рисует перед нами одну исходную группу, часть которой осталась на равнине, а часть поднялась в горы. Каждая из групп затем проходит через процесс этнического переформатирования, вследствие чего они становятся совершенно разными. Продолжительные контакты, например торговля или даже война, оказывают на них значимое влияние. Мигрировавшая в высокогорья группа могла разбиться на части, которые расселились в несхожих экологических нишах, скажем, на разных высотах, что усилило предпосылки и возможности для переформатирования»[357]. Дихотомия гор и долин обусловлена тем историческим фактом, что часть населения равнинных государств бежала в горы. Культурное, лингвистическое и этническое многообразие в горах — результат и конфликта с государствами, и огромной вариативности экологических условий, и относительной изоляции горных сообществ друг от друга вследствие сложного ландшафта.

Как и в большинстве регионов мира, образ жизни в горах и на равнинах социокультурно кодирован и нагружен. На острове Лусон равнины ассоциировались с католицизмом, крещением, закабалением (налоги и барщина) и «цивилизацией». О точки зрения жителей долин, специфику жизни в горах определяли язычество, вероотступничество, первобытная дикость, жестокость и неповиновение. В течение длительного времени обряд крещения считался публичным признанием подчинения новым правителям, а бегство в горы — бунтом (беглецы назывались *remontados* — «ушедшие назад в горы»). Как и везде, государственные центры на равнинах проводили различие между «дикими» (*feroces*) горными народами и «прирученными» (*dociles*), примерно так же как кавалерия Соединенных Штатов различала «дружелюбных» и «враждебных краснокожих». На острове Лусон раскол местного населения на две группы, обусловленный политическим выбором между принятием подданства достаточно иерархизированного равнинного государства и ведением относительно свободного образа жизни в горах, был переформатирован и представлен как эссенциалистское и примордиалистское различие между цивилизованным и высокоразвитым населением, с одной стороны, и примитивными, отсталыми народами — с другой.

Заселение Зомии: долгий путь

“ Понятие «дикари», используемое столь многими авторами для обозначения всех горных племен Индокитая, слишком некорректно и порождает заблуждения, поскольку на самом деле многие из этих племен более цивилизованны и гуманны, чем закабаленные налогами жители равнинной части страны — не более чем осколки прежде могущественных империй.

— Арчибальд Росс Колкухоун. Среди шанов, 1885

Заселение Вомии — в значительной степени эффект государства. Масштабы миграции населения на протяжении почти двух тысячелетий из бассейнов Янцзы и Жемчужной реки, с Ойчуаньского и Тибетского нагорий сложно оценить даже куда более компетентным исследователям, чем я. Теорий и легенд здесь предостаточно, а вот достоверных фактов крайне мало, не в последнюю очередь потому, что рассматриваемым « народам » было придумано столько различных и несочетаемых названий, что редко можно быть уверенным, о ком, собственно, идет речь. Нет никаких оснований полагать, например, что группа, называемая мяо, причем это в любом случае экзоним, в XV веке хоть каким-то образом связана с группой, которую называет мяо ханьский чиновник в XVIII веке. Причем ситуация запутана далеко не только на терминологическом уровне. В хаосе повторяющихся миграций и культурных столкновений практически все группы так часто переформатировались и видоизменялись, что вряд ли имеет хоть какой-то смысл предполагать, что они обладают долгосрочной генеалогической или лингвистической преемственностью.

Сталкиваясь со столь воистину непреодолимой неопределенностью идентичностей, можно лишь набраться смелости высказать несколько широких обобщений о принципиальных характеристиках миграции населения. Когда ханьские царства расширялись за пределы своих исконных нерисовых территорий в районе Желтой реки, они неизбежно захватывали новые земли у рисовых государств, расположенных в бассейне Янцзы и Жемчужной реки и к западу вдоль течения рек по равнинам. Живущее на захватываемых землях население оказывалось перед необходимостью выбора одного варианта из трех: ассимиляция/поглощение, восстание или бегство (нередко после неудачного сопротивления). Изменчивый ритм мятежей в провинциях в годы правления разных династий позволяет примерно оценить географическую и историческую поступь экспансии ханьского государства. Бунты обычно вспыхивали в тех зонах, где ханьская экспансионистская политика была особенно агрессивна. Ниже представлена таблица восстаний, достаточно широко масштабных, чтобы попасть в Большую китайскую энциклопедию.

Таблица 2 отражает основной удар династии Тан по провинции Юньнань и последовавшие за ним усилия династии Сун установить контроль над провинциями Сычуань, Гуанси и Хунань. Сравнительное затишье, по крайней мере в этом регионе, сменилось в конце XIV века крупным вторжением династии Мин, почти триста тысяч солдат и военных колонистов которой должны были разгромить и обратить в бегство сторонников династии Юань. Многие оккупанты оставались на захваченных территориях в качестве поселенцев, как и

сторонники династии Юань до них, что порождало многочисленные бунты, особенно среди мяо и яо в Гуанси и Гуйчжоу[358]. Имперская агрессия и вооруженное сопротивление ей на этих территориях, не отраженные в таблице, продолжались и в годы правления Маньчжу/Цин, чья политика перехода от сбора дани к прямому управлению посредством ханьских чиновников породила новые волнения и бегство населения. С 1700 по 1860 год примерно три миллиона ханьских поселенцев и солдат прибыли в юго-западные провинции, увеличив долю ханьцев в двадцатимиллионном населении этого региона до 60 %[359].

	722-207 до н.э.	206 до н.э. — 264 н.э.	265-617	618-959	960-1279	1280-1367	1368-1644
Сычуань	0	2	1	0	46	0	3
Хунань	5	20	18	10	112	6	16
Гуанси	0	0	0	14	51	5	218
Гуандун	0	4	3	5	23	17	52
Юньнань	1	3	3	53	0	7	2
Гуйчжоу	0	0	0	0	0	0	91

Таблица 2. Количество восстаний на юго-западе Китая по провинциям до середины XVII века, по данным Большой китайской энциклопедии.

Источник: Wiens H. J. *China's March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China's Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han-Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography*. Hamden, Conn.: Shoe String, 1954. P. 187.

На каждом новом этапе ханьской экспансии определенная часть населения, большая или малая, переходила под управление ханьской администрации и в итоге поглощалась в качестве подданных и налогоплательщиков империи. Хотя эти группы оставили свой отпечаток, нередко очевидный, на том, как в каждой конкретной местности определялось «быть ханьцем», постепенно они исчезали как отдельные этнические группы с собственным именем и внятной самоидентификацией[360]. Если же в наличии были свободные территории, куда могли сбежать те, кто предпочитал оставаться вне пределов ханьского государства, возможность эмиграции была постоянной. Группы, привыкшие к поливному

рисоводству, в первую очередь тай/лао, перемещались на небольшие горные долины, где проще всего было выращивать поливной рис. Другие группы обретали шанс оставаться свободными, уходя на отдаленные горные склоны и в ущелья, которые ханьцы считали бесперспективными с финансовой точки зрения и безнадежными в сельскохозяйственном отношении. Таков основополагающий механизм, благодаря которому, как нам кажется, в течение столетий заселялись горы Вомии. Вот как Гарольд Вьенс, первый летописец этих широкомасштабных миграций, суммировал суть происходившего:

“ Результатом вторжений стало заселение южной части Китая, хань-китайцами — поэтапно и по нарастающей от долины реки Янцзы на, юго-запад к границам провинции Юньнань. Это вынуждало племенные народы перемещаться к югу Китая, со своих обжитых мест, бросая лучшие с сельскохозяйственной точки зрения земли. Передвижение племенных народов, полных решимости сохранить свой образ жизни, происходило в направлении малонаселенных приграничных территорий, где неблагоприятные природные условия гарантировали сдерживание молниеносного натиска хань-китайского государства — это были влажные, жаркие, малярийные районы. Вторым направлением перемещений местного населения стал вертикальный подъем, в самые неблагоприятные для жизни условия, высокогорий, в большинстве своем непригодных для выращивания риса, а потому не интересующих хань-китайских земледельцев. В первом направлении осуществляли миграцию жившие прежде в долинах, выращивавшие рис, любившие воду племена тай. Во втором направлении — горные собиратели, подсечно-огневые земледельцы мяо, яо, лоло и близкие им группы. Тем, не менее вертикальное перемещение не предоставило достаточного пространства для всех вынужденных горных переселенцев, поэтому внутри них выделились группы, которые продолжили перемещение к южным, и юго-западным приграничным территориям и даже пересекли границы с Вьетнамом-Лаосом, Северным Таиландом, и Северной Бирмой[361].

Великий горный барьер на пути экспансии ханьской имперской власти и создания поселений, который максимально затрудняет передвижение, расположен в высокогорьях провинций Юньнань, Гуйчжоу и на севере и западе провинции Гуанси. Поскольку эта сложная и рельефная топография тянется на юг, пересекая сегодня уже международные границы, к северным регионам государств, расположенных на материковой части Юго-Восточной Азии, и к северо-востоку Индии, следует считать эти районы частью того, что мы называем Вомией. Именно к этому географическому бастиону, встававшему на пути государственной экспансии, устремлялось население, искавшее спасения от поглощения. О течением времени адаптировавшись к горным условиям и, как будет показано ниже, создав социальную структуру и образ жизни, способствующие избеганию государства, сегодня горные народы воспринимаются своими равнинными соседями как жалкие, обнищавшие,

отсталые племена, не обладавшие даром приобщения к цивилизации. Но, как объясняет Вьенс, «нет никаких сомнений в том, что древнейшие предки нынешних „горных племен“ также населяли долины... И было это ненамного позже, чем здесь сложилось четкое различие мяо и яо как жителей гор. Оно стало не столько результатом неких предпочтений, сколько неизбежным следствием желания этих племен избежать подчинения или уничтожения»[362]. Любая попытка сконструировать исторически глубокий и соответствующий действительности нарратив о миграционных перемещениях какого-либо народа чревата сложностями, частично обусловленными тем, что подобные группы слишком часто переформатировались. Тем не менее Вьенс попытался сложить из обрывочных сведений схематичную версию истории крупной группы, известной ханьцам как мяо, часть которой называет себя хмонгами. Вероятно, примерно в VI веке «люди мяо» («варвары») со своей собственной управленческой верхушкой представляли основную военную угрозу для ханьских равнинных государств на севере Янцзы, о чем свидетельствуют более сорока восстаний в период с 403 по 610 год. В какой-то момент их сопротивление было подавлено, и считалось, что те из мяо, кто не был поглощен ханьским населением, превратились в рассеянный, разрозненный народ без собственной знатной верхушки. Со временем название «мяо» стало использоваться почти огульно, по отношению практически к любым народам, жившим без верховных вождей на окраинах Ханьской империи, оказавшись, по сути, синонимом «варвара». В течение последних пятисот лет, в эпоху правления династий Мин и Цин, кампании по ассимиляции или «подавлению и уничтожению» проходили почти постоянно. Карательные экспедиции, последовавшие за восстаниями 1698, 1732 и 1794 годов, но прежде всего после мятежа в Гуйчжоу в 1855 году, рассеяли мяо по всему юго-западу Китая и горам в материковой части Юго-Восточной Азии. Вьенс описывает эти кампании как сопоставимые по масштабам изгнания и уничтожения с «американским обращением с индейцами»[363].

Одним из результатов молниеносного бегства мяо стало их рассеяние по всей территории Вомии. Хотя обычно они живут на больших высотах, где выращивают опиум и кукурузу, можно обнаружить мяо/хмонгов, возделывающих поливной рис и занимающихся собирательством и подсечно-огневым земледелием на умеренных высотах. Вьенс связывает это разнообразие со временем появления хмонгов в конкретной местности, а также с их относительной силой в противостоянии с конкурирующими группами[364]. Если пришедшие позже всех обладали военным превосходством, они обычно захватывали равнинные земли и вынуждали местных жителей перемещаться выше, наращивая высотность проживания[365]. Если же пришедшие позже всех были слабы, то занимали оставшиеся ниши, которые часто располагались на более высоких горных склонах. В любом случае на каждой скале или горной гряде наблюдалось вертикальное ранжирование «этнических». Так, на юго-западе провинции Юньнань моны живут ниже полутора тысяч метров, тай — в горных впадинах не выше тысячи семисот метров, мяо и яо — еще выше и, наконец, акха, вероятно, самая слабая группа в данной местности, селятся у гребней гор, на высоте до тысячи восьмисот метров.

Из всех культур и народов, вытесненных на запад и юго-запад в горы Вомии, тай, видимо, был самым многочисленным, а потому сегодня столь известен. Большая лингвистическая семья тай включает не только тайцев и живущих в долинах лао, но и шанов в Бирме, джуангов на юго-западе Китая (крупнейшее национальное меньшинство в Китайской

Народной Республике) и различные родственные им группы на севере Вьетнама по дороге в Ассам. Что отличает многих (но не всех) представителей народа тай от большинства жителей Вомии, так это то, что, судя по всему, они всегда стремились к государственному строительству. Они в течение длительного времени занимались поливным рисоводством, поддерживали социальную структуру авторитарного типа, ценили военную доблесть и нередко исповедовали мировую религию, что способствует формированию государственности. Поэтому в историческом контексте корректнее считать «тайскость» неким аналогом «малайскости», то есть технологией государственного строительства, поддерживаемой и реализуемой тончайшим верхним слоем общества из военной элиты/аристократии, который со временем ассимилировал множество разнообразных народов. Величайшим достижением тай в создании государственности было королевство Наньчао и деятельность его наследника Дали в провинции Юньнань (737-1153), который отбивался от вторжений династии Тан и даже на время смог захватить столицу провинции Ойчуань Чэнду[366]. Прежде чем быть уничтоженным в ходе монгольского вторжения, этот центр политической власти завоевал королевство Пиу в Центральной Бирме и расширил свое влияние на Северный Таиланд и Лаос. Монгольское завоевание привело к дальнейшему рассеянию населения по высокогорьям Юго-Восточной Азии и за ее пределы. Везде в горах, где находилась пригодная для рисоводства долина, можно было обнаружить небольшое государство, аналогичное создаваемым народом тай. За исключением благоприятных природных условий, в которых возникли Чиангмай и Чёнгтун, большинство подобных государств были крайне слабы и не могли сохраниться в своих тесных экологических границах. В основном они так рьяно соперничали друг с другом за население и торговые пути, что один британский наблюдатель метко охарактеризовал горы Восточной Бирмы как «бедлам перегрызшихся шанских государств»[367].

Сложность и запутанность миграционных процессов, этнических изменений и хозяйственных практик в Вомии или любой другой достаточно долго сохраняющейся осколочной зоне обескураживают. Хотя группа изначально могла переместиться в горы, чтобы спастись, например, от давления ханьского или бирманского государства, ее бесчисленные последующие передвижения и фрагментация могли иметь под собой массу оснований, скажем, конкуренцию с другими горными племенами, недостаток земель для подсечно-огневого земледелия, внутригрупповые конфликты, череду неудач, истолкованных как недружелюбный настрой местных духов, спасение от набегов и т. д. Более того, любая крупная миграционная волна запускала цепную реакцию более мелких перемещений, наподобие вторжений степных народов, которые нередко сами были вынуждены перемещаться под давлением других групп, поставивших на колени Римскую империю, или же, если использовать более современное сравнение, миграционные процессы напоминали безумный ярмарочный аттракцион, в котором машинки ударяются бамперами, и каждая из них после столкновения врезается одновременно в несколько других, и порождает цепную волну «аварий»[368].

Повсеместность бегства от государства и его причины

Многие из бирманцев и жителей Негу, будучи не в состоянии больше выносить жестокие притеснения, постоянные принуждения к труду и денежные поборы, отрывая себя, от родной земли вместе с семьями... а потому не только из-за армий, но и из-за этих причин население царства в последнее время сильно сократилось... Когда я впервые приехал в Негу, за каждым поворотом великой реки Авы [Иравади] открывалась передо мной длинная череда селений, но после моего возвращения мало деревень осталось по берегам реки на всем ее протяжении.

— Отец Самджермно, 1800

Нерегулярное, но неумолимое выталкивание Ханьской империей и ханьскими поселенцами людей в Вомию на протяжении почти двух тысячелетий, несомненно, было единым великим историческим процессом, определившим перемещение населения в горы. Однако он никоим образом не был единственной движущей силой данной миграции. Разрастание других государственных центров, таких как Пиу, Пегу, Наньжао, Чиангмай, и разнообразных бирманских и тайских королевств также заставляло людей перемещаться и вытесняло их за свои пределы. «Обычные» государственные процессы, такие как налогообложение, принудительный труд, войны и мятежи, религиозное инакомыслие и экологические последствия государственного строительства, обусловили одновременно и вполне обыденное вытеснение несогласных, и, что имело более важное историческое значение, те моменты, когда обстоятельства жизни в государстве порождали широкомасштабное, мгновенное и безудержное бегство подданных.

Сложно преувеличить степень, в какой земледельцы Юго-Восточной Азии, будь то в долинах или в горах, были вольны в своих действиях. Первые европейские путешественники, колониальные чиновники и историки региона отмечали исключительную склонность сельских жителей мигрировать, как только их не устраивали условия жизни или привлекали возможности нового места. «Географический справочник Верхней Бирмы и Шанских штатов», содержащий краткое описание тысяч деревень и городов, подтверждает это[369]. Вновь и вновь его составителям сообщали, что деревня была основана недавно или несколько поколений назад людьми, которые пришли из других мест, спасаясь от войны или угнетения[370]. В других случаях поселения, которые прежде были процветающими городами, либо оказывались полностью заброшены, либо уменьшились до размеров небольших деревушек с несколькими оставшимися жителями. Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что в доколониальный период вынужденные перемещения и добровольная миграция были скорее правилом, чем исключением. Поразительная и широко распространенная физическая мобильность земледельцев Юго-Восточной Азии, включая тех из них, кто занимался ирригационным рисоводством, совершенно не согласуется с «сохраняющимся стереотипным представлением о территориальной закреплённости крестьянских домохозяйств». И все же, как поясняет Роберт Элсон, «именно мобильность, а не постоянство, была основным принципом крестьянской жизни в эту [колониальную] эпоху, как и во все предыдущие»[371].

Большая часть миграционных перемещений, несомненно, происходила в долинах: из одного равнинного государства — в другое, из центра государства — на его периферию, из бедных

ресурсами территорий — на богатые[372]. Но, как мы уже увидели, значительная часть этих передвижений была направлена в горы, на большие высоты, то есть в районы, фактически недостижимые для равнинных государств. В ответ на введенные Бирмой в начале XIX века после вторжения в Ассам воинские повинности и налоги население Монкауна, города в долине в верховьях реки Чиндуин, сбежало на возвышенность: «Чтобы избежать угнетения, которому они постоянно подвергались, шаны искали убежища в отдаленных долинах на берегах реки Чиндуин, а качины — в ущельях гор на восточной оконечности долины»[373]. Продолжая эту логику рассуждений, Дж. Дж. Скотт писал, что «горные племена» были вытеснены в горы и в результате поражения принуждены к тому, что он ошибочно считал более обременительной формой сельского хозяйства. «Тяжелый труд достался умеренно первобытным и другим племенам, которых бирманцы давным-давно согнали с плодородных равнин»[374]. В другой части книги, размышляя об этнической многообразии горных районов, Скотт смело сформулировал обобщенную характеристику Вомии как обширной зоны бегства, или «осколочной зоны». Его оценка, во многом созвучная идеям, ранее высказанным Вьенсом, заслуживает того, чтобы быть процитированной полностью:

“ Индокитай [Юго-Восточная Азия], видимо, был общим убежищем для беглых племен из Индии и Китая. Экспансия Китайской империи, которая в течение столетий не пересекала на юге реку Янцзы, а также набеги скифских племен на империи Чандрагупты и Ашоки заставили местные народы перемещаться на север и северо-запад, где, встретившись, они стали бороться за свое существование в Индокитае. Только подобная концепция может объяснить экстраординарную вариативность и явную несхожесть рас, которые мы обнаруживаем в скрытых долинах и на горных хребтах Шанских штатов и окружающих государств[375].

Я убежден, что трактовка Скоттом Вомии как региона-убежища по сути своей верна. Ошибочно в ней неявное предположение, что горные народы, с которыми столкнулись колонизаторы, изначально были «аборигенными» племенами и что их последующая история представляет собой последовательность этапов жизни стабильного сообщества, непрерывно развивающегося генеалогически и лингвистически. Многие народы, живущие в горах, по всей видимости, когда-то очень давно были жителями равнин, покинувшими государственное пространство. Другие, впрочем, сами занимались «государственным строительством» в долинах, как, например, многие представители народа тай, но потерпели поражение от более мощных государств, оказались рассеяны или же сообща переселились в горы. Третьи, как будет показано ниже, были осколками равнинных государств: дезертировавшими новобранцами, мятежниками, солдатами разгромленных армий, разорившимися крестьянами, спасающимися от эпидемий и голода сельскими жителями, беглыми крепостными и рабами, претендентами на трон и их сторонниками, религиозными инакомыслящими. Именно эти люди, отвергнутые равнинными государствами, вместе с постоянным смешением и переформатированием горных сообществ в ходе их миграций стали причиной того, что идентичности в Вомии представляют собой столь ожидаемо

ставящую в тупик головоломку для любого исследователя[376].

Насколько решающее демографическое значение для заселения гор имело бегство сюда людей — сегодня сложно сказать. Чтобы оценить его роль, нам понадобилось бы больше, чем имеется в нашем распоряжении, данных о том, каким было население гор тысячу и даже больше лет назад. Однако разрозненные археологические доказательства, которыми мы обладаем, позволяют предположить, что горные районы были слабо заселены. Пол Уитли утверждал, что в горных районах островной части Юго-Восточной Азии, вероятно, как и в описанных Кисингом горах Северного Лусона, вплоть до недавнего прошлого практически никто не жил, а потому они «не имели значения для человека до конца XIX столетия»[377].

Причины, по которым подданные равнинных государств по собственному желанию или по принуждению снимались с места, не поддаются простому объяснению. Ниже представлено описание нескольких наиболее распространенных поводов для миграции. Среди них не указано одно весьма обычное историческое событие, которое, так сказать, помещало людей вне государственного пространства, хотя они не совершали для этого никаких действий, — сжатие или крах государственной власти в самом ее сердце[378].

Налоги и барщина

Основным принципом искусного управления государством в Юго-Восточной Азии в доколониальный период, который столь же часто нарушался, сколь и соблюдался, было угнетение подданных лишь до того момента, за которым следовал их массовый отток из страны. В регионах, где относительно слабые царства соперничали за обладание рабочей силой, население в целом не испытывало особого давления со стороны государства. В подобных условиях людей чаще соблазняли зерном, рабочим скотом и инвентарем — все это предоставлялось тем, кто соглашался селиться в малонаселенных районах.

Крупное государство, господствуя на значительной территории поливного рисоводства, будучи политическим монополистом, было склонно выжимать из населения все соки. Особенно это было характерно для центра страны, а также для периодов, когда королевство атаквалось извне или управлялось монархом с грандиозными планами военной агрессии или строительства пагод. Население, проживавшее в Кьяуксе, классическом сельскохозяйственном центре всех доколониальных бирманских королевств, всегда было чудовищно бедным по причине чрезмерного налогового бремени[379]. Риск гиперэксплуатации усугублялся рядом характеристик доколониального управления: использование «откупщиков», которые выкупали право собирать налоги и стремились получить прибыль; тот факт, что примерно половина населения была пленниками или их потомками; трудность оценки крайне важного показателя — урожайности — для любого года и, соответственно, затрат на его транспортировку. Более того, барщина и налоги с домохозяйств и земли были далеко не единственными. Налоги и сборы взимались в принципе со всего, с чего возможно: домашнего скота, святилищ духов-натов, заключения браков, рубки леса, рыболовных снастей, смолы для конопачения, соли и перца, пчелиного воска, кокосовых и бетелевых пальм и слонов, и, конечно, не следует забывать о бесчисленных поборах на рынках и дорогах. Здесь полезно вспомнить, что рабочее

определение подданного королевства фиксировало не столько этнический, сколько гражданский статус — как человека, который должен платить налоги и отрабатывать барщину[380].

У доведенного всем этим до предела подданного оставался выбор. Видимо, самым распространенным вариантом был уход с обременительной службы короне и превращение в «подданного» конкретного знатного человека или религиозной институции, которые конкурировали за обладание рабочей силой. Если это не удавалось, оставалась возможность переместиться в другое, близлежащее равнинное государство. За последние три столетия тысячи мьенов, бирманцев и каренов именно так попали в сферу тайской юрисдикции. Другой имевшийся у подданного вариант — бегство за пределы досягаемости государства во внутренние районы страны и/или в горы. Все перечисленные возможности обычно были более предпочтительны, чем риски открытого восстания, которое в основном соответствовало интересам претендующей на трон элиты. Даже в 1921 году ответом мьенов и хмонгов на сильнейшее давление тайского государства с целью принуждения подданных к отработке барщины стало бегство в леса, после чего они исчезали из поля зрения государственных чиновников, и, видимо, это было именно тем, к чему беглецы стремились[381]. Оскар Оалеминк упоминает и более современные случаи, когда горные жители группами перемещались на более отдаленные территории, нередко расположенные еще выше, чтобы избежать поборов вьетнамских чиновников и служб[382].

Как уже было отмечено, отток населения выполнял функцию своеобразного гомеостатического клапана, ослабляющего власть государства. Часто он был первым явным признаком того, что чаша терпения народа переполнена. Следующим признаком, часто упоминаемым в хрониках, было появление «блуждающего» населения — от отчаяния занявшегося либо попрошайничеством, либо грабежами и разбоем. Единственным надежным способом избежать тягот жизни подданного государства в тяжелые времена было бегство. Подобное решение часто означало переход от поливного рисоводства к подсечно-огневому земледелию и собирательству. Насколько этот переход был широко распространен, сегодня сложно сказать, но, судя по количеству устных историй, в которых горные народы вспоминают себя в прошлом как земледельцев, выращивающих поливной рис в долинах, масштабы были значительны[383].

Войны и восстания

“ Мы будто муравьи — уходим от проблем, в безопасное место. Мы бросили все, лишь бы оказаться в безопасности.

— Сельский житель млн, сбежавший в Таиланд, 1995

“ Постоянные восстания и войны между пегуанцами, бирманцами и танами... раздирали страну на протяжении пятисот лет. Все, кто не был убит, были принуждены безжалостными захватчиками оставить свои прежние дома или

призваны сражаться за короля... Таким образом, в одних случаях собственники [земледельцы] были истреблены, в других — сбегали в настолько отдаленные районы, что утрачивали возможность сохранить свою наследственную собственность, как бы глубоко ни были к ней привязаны.

— Дж. Дж. Скотт [Шве Йо]. Бирманцы

Выражение «государства ведут войны, а войны создают государства», придуманное Чарльзом Тилли, столь же верно для Юго-Восточной Азии, как и для становления современной Европы[384]. В нашем случае можно продолжить высказывание Тилли: «Государства ведут войны, а войны — в огромных масштабах — порождают мигрантов». Войны в Юго-Восточной Азии были не менее разрушительны, чем на европейской территории. Военные кампании мобилизовывали больше взрослого населения, чем их европейские аналоги, и точно так же порождали эпидемии (в частности, холеры и тифа) и голод, опустошая поверженное царство и лишая его населения. Демографические последствия двух успешных бирманских вторжений в Сиам (в 1549–1569 и 1760-х годах) были чудовищны. Территории вокруг побежденной столицы обезлюдели, небольшое количество жителей было захвачено в плен и угнано в центр бирманского государства, а большая часть остального населения рассеялась по безопасным районам. К 1920 году центральный регион Сиам только-только сумел восстановить довоенную численность населения[385]. Тяготы жизни, которые несла с собой даже успешная война в район сосредоточения ударных сил кампании, часто были не менее разрушительны, чем последствия поражения для поверженного врага. Хотя бирманский король Вайиннаун захватил и разграбил столицу Сиам, мобилизация в рамках его военной кампании истощила продовольственные запасы и человеческие ресурсы в дельтовой области вокруг Пегу. После его смерти в 1581 году войны между Араканом, Аюттхаем и бирманским двором в Таунгу превратили территории вокруг Пегу в «обезлюдешую пустыню»[386].

Война для гражданского, мирного населения, особенно живущего вдоль пути следования войск, была еще более ужасающа, чем для новобранцев. Если в конце XVII века европейская армия из шестидесяти тысяч человек требовала сорока тысяч лошадей, более сотни обозов с припасами и почти миллион фунтов продовольствия в день, можно представить, сколь велики были масштабы грабежа и разрушений на пути юго-восточно-азиатской армии[387]. По этой причине маршруты вторжений редко были прямыми, то есть кратчайшим расстоянием между двумя точками, а чаще представляли собой сложно вычерченные траектории, рассчитанные, в том числе по длительности, таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество рабочей силы, зерна, повозок, тягловых животных и кормов, не говоря уже о мародерстве и грабежах, в которых так нуждалась крупная армия. Простой подсчет поможет осознать масштабы разрушений. Если предположить, как Джон А. Линн, что армия опустошает 8 километров территории по обе стороны от пути следования и проходит примерно 16 километров в день, то получается, что каждый день военной кампании разоряется 260 квадратных километров сельской местности. Десятидневный марш такой армии, соответственно, нанесет ущерб 26 тысячам квадратных километров[388]. Основной угрозой в ходе непрекращающихся войн между страдающими от недостатка рабочей силы королевствами была не столько опасность быть убитым: удачливый боец в подобной форме военного «грабительского капитализма» мог даже

стремиться захватить людей и продать их в рабство ради прибыли. Угроза, скорее, состояла в полном опустошении тех селений, что оказывались на пути следования армии, — их жителям либо грозил захват в плен, либо они вынуждены были бежать, оставив все свое имущество на разграбление армии. Причем мало значения имело то, о какой именно армии шла речь — о «собственной» или соседнего государства, поскольку требования интендантов всех войск были схожи, как и их отношение к гражданским лицам и их собственности. Можно привести удивительный пример из истории бирмано-манипурской войны (войн), которая вспыхивала эпизодически с XVI по XVIII век. Неоднократные разорения вынудили народ чин-мизо, равнинных жителей, переместиться из долины Кабо в горы, и впоследствии они стали восприниматься как «горный народ», якобы «всегда живший здесь».

Кампании бирманского короля Водопайи (годы правления 1782–1819) в конце XVIII века во исполнение его экстравагантных мечтаний о завоеваниях и строительстве церемониальных зданий оказались разрушительными для королевства. Сначала неудачное нападение на Сиам в 1785–1786 годах, погубившее половину армии, примерно триста тысяч человек; затем массовые принудительные работы на строительстве предположительно самой большой пагоды в мире, за которыми последовали мобилизации, чтобы отбить ответную атаку тайцев и расширить ирригационную систему Мейтхилы; и, наконец, еще одна всеобщая мобилизация ради последнего, катастрофического вторжения в Таиланд из Тавоя запустила процесс бегства населения из королевства. Английский наблюдатель отметил, что жители Нижней Бирмы устремились «в другие страны» в страхе быть призванными в армию и в ужасе от ее хищничества. Бандитизм и восстания также были повсеместны, но все же в основном население предпочитало бежать подальше от государственного центра и мародерствующей королевской армии. Одни лишь слухи о ее приближении мгновенно обращали подданных в бегство за горизонт в ужасе и смертельном страхе, поскольку действия внутренних войск «по всем своим характеристикам походили на наступление враждебной армии»[389]. На каждую крупномасштабную войну приходилось, наверное, с десяток небольших военных столкновений между мелкими королевствами или же, коли на то пошло, гражданских войн между претендентами на трон, как, например, в 1886 году в Хсум-Хсае, мелком княжестве в скромном шанском королевстве Хсипау, что привело практически к опустошению района. Продолжительная гражданская война в конце XIX века за контроль над другим шанским государством, Хсенви, была настолько разрушительна, что в конце концов «величайшие из современных шанских столиц не могли сравниться даже с базарными предместьями прежних городов-крепостей»[390].

Первой целью гражданских лиц было избежать призыва в армию. Во время мобилизации каждый район должен был выполнить свою норму набора рекрутов. Явным признаком массовых уклонений от службы было последовательное введение все более драконовских квот (например, сначала один рекрут от двухсот домохозяйств, затем от пятидесяти, затем от десяти, и наконец всеобщая мобилизация). Квоты редко выполнялись, поэтому использовалось татуирование рекрутов, чтобы их можно было позже идентифицировать. В конце правления династии Конбаун, а возможно, и раньше те, кто имел достаточно средств, могли откупиться от призыва в армию. Но самым надежным способом избежать военной службы было перемещение из центра рисового государства и с пути следования армии. Народу сгав и пво-каренам не повезло — они оказались жителями территорий, по которым проходили маршруты вторжения (и отступления!) в ходе бирмано-сиамских войн в конце

XVIII века. Рональд Ренард утверждает, что именно в этот период эти народы рассеялись по горам вдоль реки Салуин и стали жить в более легко обороняемых длинных общих домах на несколько семей у горных хребтов. Даже те, кто намного позже решил обосноваться под защитой тайского государства, отказывались создавать постоянные поселения, поскольку «все равно предпочитали кочевую жизнь подсечно-огневых земледельцев, которая, как они утверждали, спасала их от невзгод, выпадающих на долю тех, кто обосновался на конкретных землях»[391].

Как только армия была укомплектована, требовались просто героические усилия, чтобы сохранить ее целостность на протяжении всей сложной военной кампании. Европейский путешественник конца XVI века отметил склонность бирмано-сиамских армий к мародерству и поджогам и добавил, что «в конце концов, они никогда не возвращались домой, не потеряв половины своих солдат»[392]. Поскольку мы знаем, что в то время войны не были особенно кровопролитными, то, скорее всего, основной причиной потерь было дезертирство. Свидетельства из представленного в Хронике Стеклянного Дворца описания неудавшейся бирманской осады подтверждают это предположение. После пяти месяцев осады у атакующих закончились припасы и разразилась эпидемия. Армия, которая вышла в поход с численностью в 250 тысяч человек, судя по данным хроники, распалась, и после сокрушительного поражения «король достиг своей столицы лишь с небольшим эскортом»[393]. Видимо, как только нападение захлебнулось и началась эпидемия, подавляющее большинство солдат дезертировали, устремившись домой или начав новую жизнь в более безопасном месте. В ходе бирманской военной экспедиции против шанов в конце XIX века, что зафиксировал Дж. Дж. Скотт, министр, отвечавший за войска, «вел себя совершенно не как военачальник, и ходили слухи, что он был настолько поглощен проблемой удержания войск от рассеяния, что у него просто не оставалось времени воевать»[394]. Мы знаем, что, как и практически во всех досовременных армиях, здесь был высок уровень дезертирства, особенно в случае провала военной кампании[395]. Сколько дезертиров — или перемещенных гражданских лиц, если уж на то пошло, — в итоге осталось в горах и на других отдаленных территориях, сложно сказать. Но тот факт, что войска состояли либо из «наильно завербованных», либо из рабов и их потомков и что, учитывая военное время, многим из них просто некуда и незачем было возвращаться, позволяет предположить, что многие беглецы начали новую жизнь в совершенно других местах[396].

Существует множество отрывочных свидетельств того, что угрозы и вынужденные перемещения военного времени вытеснили прежде земледельческие народы рисовых государств во внутренние районы страны или на большие высоты, заставив их создать новые повседневные хозяйственные практики. Например, гананы — сегодня это меньшинство, насчитывающее от силы восемь тысяч человек, живущих в устье реки Му (административный округ Сикайн, Бирма) среди горных вершин высотой три тысячи футов, испещренных глубокими ущельями[397]. Они были или, возможно, стали жителями равнин и частью рисового государства Пиу до того, как его центры были разграблены и разрушены войсками монов, бирманцев и Наньчжао в период с IX по XIV век. Гананы сбежали в верховья реки Му, чтобы «укрыться от сражений», и здесь превратились в подсечно-огневых земледельцев и собирателей. У них нет письменности, и они практикуют неортодоксальный вариант буддизма. Их история согласуется, как мы увидим далее, с версиями других

современных горных народов, утверждающих, что в прошлом они жили в долинах.

Повсеместно можно встретить более поздние свидетельства бегства в горы в целях избежать пленения или тягот войны. Дж. Дж. Скотт полагает, что жители гор вокруг Чёнгтуна в Бирме к востоку от реки Салуин когда-то давно населяли равнину вокруг Чёнгтуна и были вытеснены тайскими вторжениями в горы, где до сих пор занимаются подсечно-огневым земледелием[398]. Чарльз Кис цитирует отчет миссионера о живущей обособленно группе каренов, которые покинули территории Сиама, переместившись в практически недоступное горное ущелье между Сарабури и Корат с более низкого равнинного местоположения[399]. Северные чины, в свою очередь, сбежали в отдаленные горы от шан-бирманской войны в XVIII–XIX веках и иногда предоставляли убежище мятежным бирманским князьям, спасавшимся от королевских войск[400].

Важно отметить, что в условиях войны разорение центра рисового государства приводило к уничтожению государственного пространства одновременно с политической и экологической точек зрения. Даже с поправкой на преувеличение следующее описание Чиангмая после вторжения бирманцев весьма показательно: «Города превратились в джунгли, а рисовые поля — в луга, пастбища для слонов, леса для тигров, где невозможно было построить страну»[401]. Конечно, хотелось бы верить, что жители равнин, освободившись от статуса подданных, могли остаться жить на прежнем месте. Однако проблема была в том, что в результате поражения королевства соседние государства и работоторговцы начинали охотиться за остатками его населения. Перемещение с равнин на территории, гораздо менее доступные для армий и работоторговцев, давало реальный шанс на самостоятельность и независимость. Именно так, как утверждает Лео Альтинг фон Гойзау, и поступили акха и многие другие группы, которых сегодня считают якобы «с незапамятных времен» горными:

“ Таким образом, за много столетий самые труднодоступные районы в горной части провинции Юньнань и соседних Вьетнаме, Лаосе и Бирме стали зонами бегства племенных групп, вырванных из привычной жизни действиями небольших вассальных государств, оккупировавших равнинные территории. В ходе маргинализации племенные группы, такие как хани и акха, подбирали для себя, и обустроивали среду обитания — учитывая высотность и окружающие леса — таким образом, чтобы затруднить доступ к себе солдат, бандитов и сборщиков налогов. Подобным процесс получил название «инкапсуляция» (капсулирование)[402].

Набеги и рабство

“ Набеги — наше земледелие.

— Берберская пословица

Концентрация населения и зернового производства, как мы уже увидели, была необходимым условием становления государственности. Именно потому, что конкретные территории в принципе могли снабдить излишками зерна занимающихся государственным строительством правителей, они неодолимо манили и грабителей. Для всех, кроме самых крупных, центров государств угроза набегов работорговцев и/или бандитов была актуальной и неизбежной. Страх перед малайскими рабовладельцами в ранний колониальный период опустошил многие прибрежные районы Бирмы и Сиам; карены по этой причине избегали дорог и открытых побережий. Продолжительная уязвимость со временем приводила к установлению системы подчинения и хищничества. Подобная ситуация сложилась в долине Кабау в верховьях реки Чиндуин, где проживавшие в горах чины закабалили населявших долину шанов, угнав многих из них в рабство[403]. В итоге крупный город из пятисот домохозяйств и тридцати семи монастырей в 1960 году сократился до двадцати восьми домов.

В целом горные народы были заинтересованы, если они действительно подчинили себе близлежащую долину, защищать ее поселения, которые могли стать их торговыми партнерами или регулярными данниками. В стабильной ситуации здесь складывались отношения типа «защита и вымогательство с шантажом». Иногда горные группы, например качины, считали выгодным создавать поселения «в долинах или на берегах рек у подножия гор». Аналогично берберам, называвшим сбор дани с оседлых сообществ «своим земледелием», в районе Вхамо в верховьях реки Иравади качины назначали старост в бирманских и шанских поселениях. «Казалось, не осталось во всем округе Вхамо ни одной деревни, не охраняемой подобным образом, и качины были настоящими хозяевами всей этой местности»[404]. Своим спокойствием и рутинностью такая система напоминает успешные досовременные государства, а именно их монопольное «крышевание», которое гарантирует мирную жизнь и благоприятствует производству и торговле, поскольку не извлекает больше ренты, чем можно перевезти в горы.

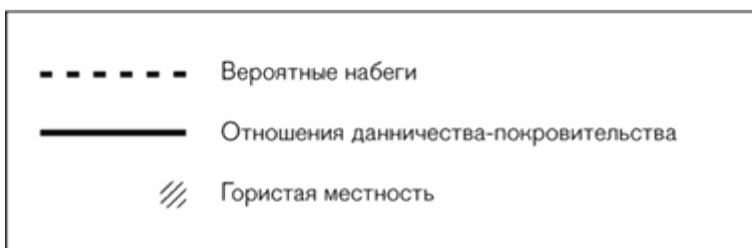
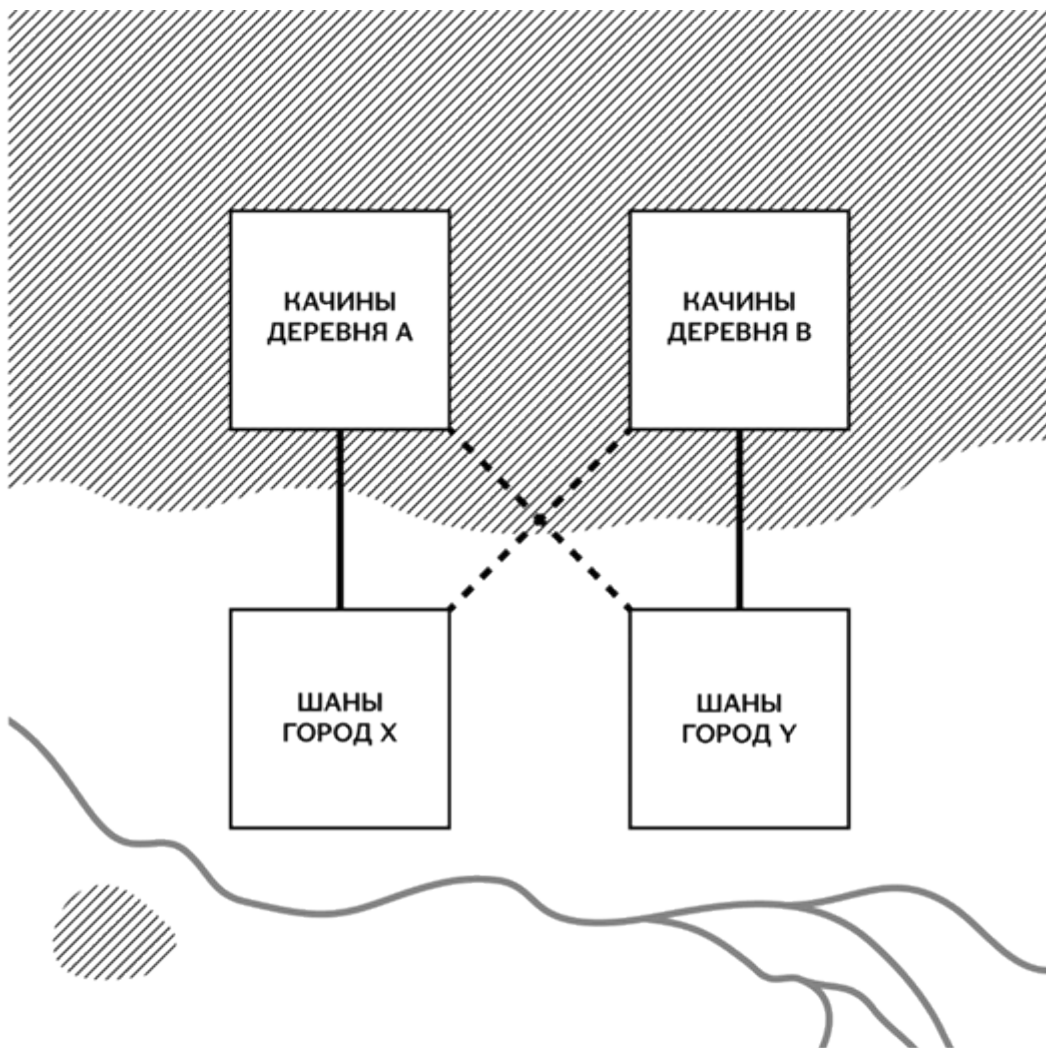


Рисунок 2. Схема основанных на набегах и сборах дани отношений гор и равнин

И все же снова и снова горные народы в подобных зонах не переставали грабить поселения на равнинах, по сути, «убивая курицу, несущую золотые яйца», полностью разоряя и опустошая долину[405]. Зачем? Я думаю, ответ скрыт в политической системе гор, характеризующейся соперничеством множества небольших государственных образований. Каждое из них «взаимодействовало» с поселениями у подножия гор, которые защищало. Простейшая схематичная модель того, как примерно выглядело это взаимодействие, представлена на рисунке 2. Поскольку качины из группы А могли жить на расстоянии трех-четырех дней пути от деревни, которую оберегали, то качины из группы В могли совершить на нее набег и быстро скрыться. Когда о нападении узнавали качины из группы А, они могли

отомстить, совершив набег на другое равнинное поселение, которое находилось под защитой их обидчиков из группы В. Все это, конечно, могло разжечь вражду между горными группами, если они не достигали неких договоренностей[406].

У описанной системы взаимоотношений есть несколько особенностей, которые подтверждают общую логику моих рассуждений. Во-первых, то, что казалось, особенно жителям долин (!), грабежом со стороны горных «племен», на самом деле было достаточно искусным проявлением их политической организации. Во-вторых, при широком распространении таких грабежей они должны были вести к обезлюдению больших территорий в связи с перемещением слабых живущих в долинах групп подальше от гор и поближе к берегам рек, откуда было легче бежать. И наконец, что наиболее важно, основной целью всех набегов был захват рабов, многих из которых качины оставляли себе, а часть продавали другим горным народам или работорговцам. В той степени, в какой набегι оказывались успешны, они обеспечивали постоянный отток населения в горы. Это был еще один механизм, посредством которого население равнин превращалось в жителей гор, а горы становились все более космополитичны в культурном отношении.

Ряд горных народов печально прославился своей работорговой деятельностью. В целом в шанских государствах особенно боялись каренни (красных каренов). В некоторых районах набегι работорговцев после уборки урожая стали обыденностью[407]. «Так, в большинстве деревней каренни можно увидеть шанянгов из племен каренов, йондалинов, падаунгов и лет-хта с горных хребтов на северо-западе, обреченных на безнадежное состояние рабства... Их продают ионам (шанам в Чиангмае), которые перепродают их сиамцам»[408]. Перечень пленников каренни весьма показателен, поскольку содержит названия не только жителей равнин, но и горных народов. Занимавшиеся набегами за рабами группы, как каренни, специализировавшиеся на добыче самого ценного товара, похищали не только жителей долин, чтобы сделать их членами горного сообщества или продать на равнинных рынках, но и жителей слабо защищенных горных поселений, чтобы сделать их своими рабами или перепродать. В определенном смысле горные работорговцы выполняли функцию конвейерного поставщика рабочей силы, который мог работать в обоих направлениях: то обеспечивая исходный материал для государственного строительства, то совершая набегι на равнинные поселения, чтобы удовлетворить собственные потребности в рабочей силе. В любом случае эта поведенческая модель помогает понять, почему жители долин так боялись набегов и почему слабые горные народы уходили жить в труднодоступные географические зоны, возводя укрепленные скрытые частоколы, чтобы свести к минимуму возможности нападения на свои поселения[409].

Повстанцы и раскольники в горах

Восстания и гражданские войны несли сельским жителям множество тех же ужасов, что и завоевательные войны и вторжения. Соответственно, первые тоже побуждали людей к бегству — они судорожно перемещались в те районы, которые казались им более безопасными. Примечательно, что выбор вариантов бегства всегда определялся некоей логикой, которая, в свою очередь, в значительной мере зависела от классовой принадлежности человека, или, если говорить точнее, от той степени, в какой сохранение

статуса, собственности и жизни гарантировалось установленными верховной властью порядками. Эта логика просматривается даже в весьма ломаных траекториях бегства населения в первые годы Вьетнамской войны на юг страны, с 1954 по 1965 год. Землевладельцы, элиты и чиновники в целях собственной безопасности все чаще предпочитали покинуть сельскую местность, тяготели к столицам провинций и в конечном счете, когда конфликт обострился, и к самому Сайгону. Казалось, их перемещения свидетельствовали об убежденности, что чем ближе к центру государства, тем больше гарантий безопасности. Многие обычные крестьяне, наоборот, отказывались от оседлой жизни в больших деревнях и переселялись в отдаленные мобильные поселения за пределами досягаемости государства. Это выглядело так, будто шаткий общественный договор об основанной на институте государственной власти жизни потихоньку утрачивал свою силу: элиты стремились в центр, где максимально ощущалась способность государства к принуждению, а слабые неэлитарные группы, наоборот, перемещались на периферию, где контролируемые возможности государства были минимальны.

Мятежи, конечно, если они достаточно мощные, содержат в себе еще больше веских причин для бегства в горы. Первые этапы войны в Индокитае (1946–1954), как утверждает Харди, привели к «перемещению огромного количества вьетнамцев из дельты Красной реки в отдаленные районы северных гор. Леса предоставляли укрытие революционерам на всем пути к городу Дьен Вьен Фу недалеко от границы с Лаосом»[410]. Подобная модель поведения уходит корнями в глубины истории Вьетнама и других стран. Ее можно проследить по крайней мере до крупномасштабного восстания тэйшонов (1771–1802), которое началось, когда три брата из деревни в районе Тэйшон сбежали в близлежащие горы, чтобы спастись и найти сторонников. Эта модель работала и в рамках освободительного движения «Кан выонг» («В защиту императора») в первые годы колонизации Вьетнама, в восстаниях провинции Нгетинь в 1930 году и, наконец, на опорной базе Вьетминя в горах среди меньшинства тхо[411]. Бегство от государства перепуганных повстанцев и мирного населения влекло за собой миграцию в новые экологические условия и формирование новых хозяйственных практик. Последние обычно не только более пригодны для нового места поселения, но и более разнообразны и подвижны, что позволяет использующему их населению легче уклоняться от учета и контроля государства.

Разгром мятежей, как и поражение в ходе войн, вынуждал побежденных устремляться в периферийные районы страны. Чем крупнее было восстание, тем больше населения оказывалось перемещено. В этом отношении вторая половина XIX века в Китае была периодом колоссальных потрясений, которые обратили в бегство сотни тысяч людей, многие из которых искали спасения подальше от Ханьской империи. Крупнейшим из социальных потрясений стало Тайпинское восстание (1851–1864), определенно величайшая по размаху и продолжительности крестьянская война в мировой истории. Затем последовали бунты в провинциях Гуйчжоу и Юньнань, иногда называемые «восстанием пантай», которые были исключительно массовыми, продолжались с 1854 по 1873 год и вовлекли «предателей»-ханьцев, горный народ мяо/хмонгов, а также хуэй — китайских мусульман. Хотя так называемое восстание мяо не смогло достичь масштабов Тайпинского восстания, стоившего жизни примерно двадцати миллионам человек, тем не менее оно продолжалось почти два десятилетия, прежде чем было подавлено. Поверженные повстанцы, их семьи и целые общины стремглав отступили в Вомию после разгрома

тайпинов, а после восстания мяо — глубже и дальше на юг внутрь Вомии. Бегство от ханьских властей порождало миграции, которые не только вели к широкомасштабным грабежам, бандитизму и разрушениям, но и еще больше усложняли и без того многообразный этнический ландшафт в горных районах. Как в эффекте храповика, бегущие группы вынуждали других сниматься с мест и гнали их перед собой. Тонгчай Виничакул утверждает, что многие из китайцев, пришедших в Северный Сиам в конце XIX века, были осколками тайпинов[412]. Остатки разбитых сил восстания мяо были вытеснены на юг, и многие группы лаху и акха, не участвовавшие в мятеже, последовали на юг с мяо или впереди них, чтобы избежать опасности. В XX веке успешное восстание, Коммунистическая революция в Китае, породило новый поток мигрантов — побежденных республиканцев-гоминьдановцев. Обосновавшись на территории, которая сегодня известна как Золотой треугольник на стыке Лаоса, Бирмы, Китая и (частично) Таиланда, вместе со своими горными союзниками они сумели подчинить себе практически всю торговлю опиумом. Благодаря отдаленному местоположению в горах и сложности рельефа они получили политическое преимущество, имея возможность балансировать на территории, будто шов, связывающей четыре сопредельные национальные юрисдикции[413]. Впрочем, они далеко не самые последние мигранты в Вомии как зоне бегства. В 1958 году под давлением китайских партийных работников и солдат почти треть народа ва пересекла границу Китайской Народной Республики с Бирмой в поисках убежища[414]. События Культурной революции дали новый импульс миграционным процессам.

Отступление сил Гоминьдана в Золотой треугольник призвано напомнить нам, что горы и Вомиа в особенности в течение длительного времени были зоной бегства (и подготовки новых военных операций) для чиновников павших династий, претендентов на княжеский престол и группировок, потерпевших поражение в придворных интригах. Так, в начале правления династии Маньчжу князь Мин и их окружение сбежали в безопасные районы провинции Гуйчжоу и за ее пределы. В Бирме Шанские и Чинские горы в доколониальную и раннюю колониальную эпоху были прибежищем для князей-бунтовщиков и беглых претендентов на трон Бирмы (*mill laun*).

Политическое инакомыслие и религиозные ереси и отступничество, особенно до начала XIX века, очень сложно отличить друг от друга — столь часто они были сплавлены воедино. Тем не менее следует подчеркнуть, что горы ассоциировались с религиозным инакомыслием по отношению к долинам в той же мере, что и с восстаниями и политическим протестом[415]. И это не удивительно. Учитывая влияние сангхи (священнослужителей — *sangha*) в исповедующих буддизм Тхеравады странах, например Бирме и Сиаме, и космологии, которая могла превратить правителя в подобие индо-буддийского бога-царя, для короны было столь же жизненно необходимо контролировать одновременно и настоятелей храмов своего царства, и своих князей, как бы сложно ни было осуществлять подобный надзор. Способность короны устанавливать свои религиозные предписания на больших территориях была столь же важной, как и право навязывать свою политическую волю и собирать налоги. Однако размер территорий варьировал в зависимости не только от топографических элементов, но и от временного фактора, влияющего на власть и сплоченность двора. Религиозная «граница», за которой сложно было навязывать ортодоксию, таким образом, определялась не каким-то конкретным местом или четким территориальным водоразделом, а отношением к власти, то есть была изменчивой гранью, за которой государственный

контроль практически сходил на нет.

Долины поливного рисоводства и относительно ровные поверхности с незначительными колебаниями высот, типичные для равнинных государств, являются плоскими не только с топографической точки зрения — они столь же выровнены в культурном, лингвистическом и религиозном отношении. Первое, что бросается в глаза любому наблюдателю, — это относительное единообразие культуры в долинах по сравнению с пышной мозаичностью одежд, языков, ритуалов, хозяйственных практик и религиозных верований в горах. Несомненно, относительная однородность — эффект государства. Буддизм Тхеравады, со своей претензией на статус всеобщего вероисповедания, в значительной степени был религией централизованного государства, если сравнить с предшествующими его распространению местными культами (духов натов, фи — *not, phi*). Несмотря на склонность к синкретизму и использованию анимистических практик, исповедовавшие буддизм Тхеравады монархи, когда могли, преследовали монахов и закрывали монастыри иных вероисповеданий, объявляли вне закона индо-анимистические обряды (во многих из которых участвовали в основном женщины и трансвеститы) и распространяли то, что считали «чистыми», нетленными текстами[416]. Унификация религиозных практик была проектом рисовых государств, призванным гарантировать, что единственный, помимо королевских служб, общегосударственный элитарный институт жестко подчинялся короне. Ее становлению способствовало то, что крупные монастыри содержались на средства присваиваемой излишки элиты, которая, как и верховная власть, процветала благодаря высокой производительности труда и концентрации рабочей силы в центре государства.

Централизованная власть обуславливает некоторую степень религиозной ортодоксии в сердце государства, но не может сдерживать религиозное разнообразие в горах, хотя инакомыслие горных жителей — в какой-то мере результат политики государства. Кроме того что горцы проживали в недостижимых для государства местах, они были более раздроблены, более разнородны и чаще вели обособленную жизнь. Даже если здесь селилось буддийское духовенство, оно тоже было разбросанным по территории, более децентрализованным и бедным, а поскольку верховная власть ему не покровительствовала и не контролировала его, — то и более зависимым от расположения местного населения. Если оно исповедовало иную веру, как это часто и случалось, то духовенству приходилось в нее переходить[417]. Вот почему раскольнические секты так быстро формировались в горах. Если и когда они появлялись, их очень сложно было подавить, поскольку они размещались на границах государственной власти. Однако не менее важны были и два других фактора. Во-первых, сочетание священного писания буддизма с джатаками, историями о прошлых жизнях Будды, не говоря уже о космологии горы Меру, определяющей стиль дворцовой архитектуры, давали веские основания и возможности для отхода от ортодоксального буддизма. Отшельники, странствующие монахи и расположенные в лесах религиозные общины — все они вкусили харизмы и духовных знаний благодаря своему положению вне общества[418]. Вторым решающим фактором стало то, что неортодоксальные секты, запрещенные в долинах, перемещались подальше от опасности в горные районы. Здесь демография и география не только способствовали религиозному инакомыслию, но и формировали зону спасения для преследуемых в долинах сект.

Шанское нагорье Бирмы, где исповедующие буддизм и выращивающие рис люди создали мелкие государства в долинах, представляет яркий пример того, о чем идет речь. Майкл Мендельсон в своем крупномасштабном исследовании *sangTia* (сангхи — священнослужители) в Бирме пишет о *Zawti* (свет, сияние) — реформистской секте Воути, которая, видимо, «была выведена из-под религиозной юрисдикции Бирмы» в конце XIX века и обосновалась на Шанском нагорье[419]. Она переняла некоторые характерные обычаи шанских буддистов наряду с шанскими текстами и иконографией. В то же время секта придерживалась некоторых еретических практик параматов (секты, которой недолго покровительствовал король Водопайя в начале XIX века). Мендельсон завершает свое краткое описание догадкой, которая согласуется с концепцией «зоны бегства»: «В своих исследованиях ученые должны учитывать то, что шанские государства на протяжении многих столетий предоставляли убежище сектам, которые исключались из религиозной юрисдикции Бирмы»[420]. Шаны стали буддистами только в конце XVI века, и, вероятно, отток запрещенных сект из центра бирманского государства сыграл роль в их религиозном обращении. Вот почему, хотя Эдмунд Лич отмечает, что все шаны — буддисты и буддизм является необходимым условием, чтобы считаться шаном, он уточняет, что «большинство из них, это правда, не очень набожны, и шанский буддизм включает в себя ряд определенно еретических сект»[421]. Намного раньше в «Географическом справочнике» Скотт описал монахов в Шанских штатах как живущих в укреплениях вооруженных торговцев, которые курят и носят головные уборы. Затем он процитировал доктора Кушинга, утверждающего, что степень инакомыслия увеличивается по мере удаления от центра бирманской власти[422]. Журналист, тайно путешествовавший по Шанским штатам в 1980-х годах, упоминает буддийских монахов у границы с Китаем, которые спали с женщинами, курили опий и жили в укрепленных, будто крепости, монастырях[423]. Даже столь фрагментарные свидетельства говорят о том, что шанские буддисты — живой исторический памятник раскольничьим буддийским сектам, запрещенным и изгнанным из сердца бирманской государственной жизни за последние несколько столетий.

Вомя стала зоной спасения для мятежников и разбитых армий с долин, а также убежищем для запрещенных религиозных сект. Прослеживая процесс заселения Воми на протяжении столетий, можно увидеть, как она постепенно стала напоминать своеобразное теневое общество, зеркальное отображение великих рисовых государств, хотя и использовала фактически тот же космологический исходный материал. Сюда стекались идеи и люди, ставшие жертвами государственного строительства и династических битв. Отторгнутый долинами плюрализм можно в изобилии найти в горах — осколки, которые рассказывают нам, кого равнинные королевства изгнали за свои пределы, то есть какими они могли бы стать в иных обстоятельствах.

Частота, с которой периферия — горы, пустыни, глухие леса — прочно ассоциируется с религиозным инакомыслием, слишком велика, чтобы недооценивать эту связь. Казачество на границах царской России примечательно не только своей эгалитарной социальной структурой, но и значением в нем старообрядчества, чье мировоззрение сыграло важную роль в крупных крестьянских восстаниях под предводительством Разина и Пугачева. Швейцария длительное время отличалась эгалитаризмом и религиозным инакомыслием. Альпы в целом воспринимались Ватиканом как колыбель ереси. Здесь укрылись вальденсы, а затем под угрозой принудительного обращения со стороны герцога Оавойского в середине

XVII века переместились в долины на больших высотах. Реформация также охватила Альпы, хотя, по причине их географической раздробленности, раскололась по региональному признаку: Женева приняла кальвинизм, а Базель — цвинглианство[424].

Неортодоксальность гор можно рассматривать как отражение политической и географической маргинальности зоны сопротивления, куда могут в крайнем случае устремиться преследуемые меньшинства. Впрочем, подобный подход не вполне характеризует диалогическую природу отличий горных народов как сознательный культурный выбор, призванный маркировать их принципиальное своеобразие и оппозиционность. Живущие в горах берберы, как уже отмечалось, часто меняли форму своего религиозного инакомыслия, таким неявным образом заявляя о противостоянии правителям близлежащих государств: «Когда римляне, контролировавшие провинцию Ифрикия [Африка], перешли в христианство, горные берберы (которых римлянам никогда не удавалось полностью подчинить) также стали христианами, но в еретических версиях — донатистами и арианами, чтобы не войти в Римскую церковь. Когда ислам пришел на эти земли, берберы стали мусульманами, но вскоре выразили свое недовольство встроенным в арабское мусульманское правление неравенством, став хариджитами». Роберт Лерой Кэнфилд внимательно проследил формирование сопоставимого четко просчитанного исламского раскола в горной системе Гиндукуш в Афганистане[425]. Если основные аграрные государственные центры в долинах исповедуют суннизм, то соседние с ними горные народы — иманизм (шиизм двенадцатников), а населяющие более отдаленные, труднодоступные горные районы — исмаилизм. Религиозные особенности обычно соответствуют экологическим нишам и нередко преодолевают лингвистические и этнические барьеры. Обе формы инакомыслия являются мощным связующим фактором для населения, которое не подчиняется государству, определяющему себя в терминах суннитской ортодоксии. В подобных случаях религиозная идентичность выступает как сознательно конструируемый механизм обозначения границ, призванный подчеркнуть политические и социальные отличия. Мы увидим, что аналогичные процессы имели место в материковой части Юго-Восточной Азии, и рассмотрим милленаристские верования горных народов в восьмой главе.

Перенаселенность, болезни и экология государственного пространства

“ Земледелец [в отличие от охотника-собирателя], как правило, имеет внутри себя более опасные микробы, при себе — лучшее оружие и броню и более эффективные технологии, за собой — централизованное правительство и грамотную элиту, куда лучше приспособленные к ведению завоевательных войн.

— Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь

Оседлое зерновое земледелие и разведение домашнего скота (свиней, кур, гусей, уток, крупного рогатого скота, овец, лошадей и т. д.), очевидно, обусловили скачок в распространении инфекционных заболеваний. Большинство смертельно опасных эпидемических болезней, от которых мы сегодня страдаем, — оспа, грипп, туберкулез, чума, корь и холера — зоонотические, то есть передались человеку от домашних животных. И принципиальное значение имеет здесь скученность — концентрация людей, а также домашних животных и «обязательных» вредителей-спутников, которые неизбежно сопровождают их: крыс, мышей, клещей, комаров, блох и т. д. Если конкретная болезнь распространяется через близкие контакты (кашель, прикосновение, использование общих источников воды) или с помощью вредителей-спутников, сама по себе скученность переносчиков ее возбудителей формирует идеальную среду для всплеска эпидемии.

Показатели смертности в городах раннесовременной Европы превышали темпы естественного прироста населения примерно до середины XIX века, когда санитарные меры и источники чистой воды значительно снизили уровень смертности. Нет никаких оснований считать, что города Юго-Восточной Азии были более здоровыми. Подавляющее большинство отмеченных там болезней вполне можно назвать «болезнями цивилизации», поскольку впервые они упоминаются в хрониках вместе с формированием центров зернового земледелия, которые предполагают концентрацию флоры, фауны и насекомых[426].

Летописи рисовых государств и свидетельства первых европейских наблюдателей говорят о частоте опустошительных эпидемий в больших городах досовременной Юго-Восточной Азии[427]. Во всестороннем и тщательном исследовании северной и центральной части Оулавеси Дэвид Хенли утверждает, что эпидемические болезни, особенно оспа, были основным препятствием для роста численности населения. Возможно, как следствие перенаселенности и близости к торговым путям, жители прибрежных районов оказывались менее жизнеспособными, чем «жители горных регионов», которые «производили впечатление более здоровых и сильных»[428].

Практически все понимали, что в случае эпидемии самым разумным было мгновенно уехать из города и рассредоточиться по сельской местности или горным районам. Хотя в целом люди не знали, как именно передается эпидемическое заболевание, они замечали, что рассеяние и изоляция тормозят распространение болезни. Горные народы считали равнины нездоровым местом. Подобная ассоциация или могла возникнуть у живущих на высоте более тысячи метров в связи с распространенностью малярии на низких высотах, или же отражала страх перед городскими эпидемиями и риском подхватить корабельную болезнь у торговцев. На Лусоне игороты, жившие на небольших высотах, знали, что, как только начинается эпидемия, они тотчас должны вернуться в горы, рассеяться и перекрыть все проходы, чтобы обезопаситься от ее последствий[429]. Насколько демографически важным было бегство в горы в ответ на эпидемии или какая доля укрывшихся в горных районах возвращалась после того, как опасность отступала, — сложно сказать. Но если добавить сюда спасающихся в горах от засухи и голода, то демографические последствия бегства населения могли быть весьма значительными.

Вся сельскохозяйственная деятельность — рискованное предприятие. Однако при прочих равных земледелие в центре рисовых государств во многих отношениях, за одним важным

исключением, было более рискованным, чем сельскохозяйственная деятельность на нагорьях, не говоря уже о собирательстве. Ключевое и единственное преимущество поливного рисоводства, в том случае если орошение обеспечивалось постоянными водными потоками, состояло в том, что, пусть и на время, оно было устойчиво к засухе[430]. С другой стороны, огромное разнообразие форм подсечно-огневого земледелия и собирательства в горных районах обеспечивало столько источников пропитания, что гибель или неурожай одной-двух культур грозили лишениями, но редко приводили к катастрофическим последствиям. Вероятно, самое важное, что эпидемиологические последствия концентрации культурных сортов растений были теми же, что и у скученности человека разумного. Относительно небольшой генофонд зернового производства создавал идеальную эпидемиологическую среду обитания для насекомых, грибов, стеблевой ржавчины и других вредителей, специализирующихся, скажем, на рисе. Скопление таких вредителей в орошаемой долине, в основном засеянной рисом, могло мгновенно привести к катастрофе.

Когда идут дожди или видимые глазу вредители атакуют посевы, то причины неурожая очевидны, хотя пострадавшие от засухи растения могут оказаться восприимчивы к другому патогену, ровно так же как пациент с ослабленным здоровьем становится особенно уязвим для любых условно-патогенных инфекций. Нашествие крыс в конце XVI века опустошило Хантавади в Нижней Бирме — они сожрали практически все запасы зерна[431]. Как только заканчивались запасы продовольствия, люди начинали бежать из города. Впрочем, понятно, что нашествие грызунов было вызвано или по крайней мере привлечено значительными запасами зерна. Причины страшного неурожая и голода, поразивших Верхнюю Бирму в период с 1805 по 1813 год, неясны. Засуха, конечно, сыграла свою роль, как и, по мнению Тант Мьинт У, мальтузианское демографическое давление на ограниченную сельскохозяйственную территорию в центре государства[432]. Каковы бы ни были точные причины, они существенно ускорили отток населения. В частности, он привел к широкомасштабному «переходу к подсечно-огневному земледелию», вследствие чего было заброшено столько рисовых полей, что налоговым сборщикам династии Конбаун пришлось изобрести новую кадастровую категорию для налогообложения. Непонятно, насколько далеко в горы ушли скрывающиеся подданные, но одно предельно ясно — они массово покидали центр рисового государства[433].

Предположение о мальтузианском демографическом давлении в сердце страны заставляет выдвинуть весьма интригующее предположение, что, возможно, рисовые государства испытывали не только налоговые, но и экологические ограничения роста. Именно об этом писал Чарльз Китон[434]. По его мнению, массовая вырубка лесов вокруг сухой зоны при короле Миндоне привела к увеличению стоков и заилению оросительных резервуаров и каналов. Многие каналы были заброшены. Небольшой спад в показателях дождливости — если речь идет о территории с очень низким уровнем осадков (пятьдесят — шестьдесят пять сантиметров в год) — может вызвать засуху и отток населения. Соответственно, сухая зона деградировала и стала очень хрупкой с агроэкологической точки зрения, подверженной неурожаям. Немного спасающихся от голода могли укрыться в горах, но большинство в конце XIX века устремилось к бурно развивающейся дельте реки Иравади с открытыми границами. Все они покинули центр рисового государства.

Зерновые бунты

Династические «автопортреты» доколониальных рисовых государств Юго-Восточной Азии и империй Мин и Цин, судя по официальным источникам, выполнены в розовом цвете и изображают милостивых и добродетельных собирателей народов. Мудрые правители, как добрые пастыри, созывали дикие народы в буддийские и конфуцианские центры государственности, где оседлое поливное рисоводство и превращение в полноправного подданного считались маркерами цивилизационного развития. Как любые идеологически нагруженные самопрезентации, тот гегелевский идеал, который они старательно изображали, на деле оказывался, как и использование слова «умиротворение» во время Вьетнамской войны, жестокой пародией на реальную жизнь, особенно на границах.

На минуту отставив в сторону серьезнейший вопрос, что именно обозначал термин «цивилизация», отметим, что династический автопортрет был абсолютно ошибочен по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, процесс концентрации населения был чем угодно, но не благостным и добровольным путешествием в цивилизованную жизнь. Большую часть населения в центре государств составляли пленники, массово захваченные как военные трофеи и пригнанные победителями в свою столицу или же купленные в розницу у работоторговцев, которые захватывали людей в ходе экспедиций и продавали государству то, в чем оно больше всего нуждалось. В 1650 году доля наследственных ахмуданов (*ahmudan* — обязанные служить в армии правителя, в основном рабы и их потомки) в радиусе двухсот километров от столицы Авы составляла 40 %. Массовая депортация военнопленных из Манипура на Шанском нагорье и Нижней Бирмы с 1760 по 1780 год была призвана увеличить к тому времени поредевшие ряды ахмуданов. Сиам — еще более поразительный пример королевства, состоящего из пленников. В конце XVII века, по данным одного наблюдателя, треть населения центральных районов Сиама составляли «иностранцы, в основном потомки плененных в ходе войн лао и монов». В начале XIX века, когда численность жителей Сиама сократилась в ходе бирманских вторжений, королевство начало столь широкомасштабную кампанию военных захватов, что «в общей сложности количество лаосцев, монов, кхмеров, бирманцев и малайцев могло сравниться с количеством людей, идентифицирующих себя с сиамцами в центральной части страны»[435]. Эти данные приведены не для того, чтобы опровергнуть тот факт, что жители окраин массово устремлялись к возможностям и преимуществам столицы государства в хорошие времена. Нет, они отрицают, что процесс создания государств в заданных демографических условиях был возможен без захватов и рабства.

О втором и куда более вопиющем упущении династических самоизображений говорят неопровержимые доказательства бегства населения из центров государств, не представленные в хрониках. Признание их существования, безусловно, противоречит доминирующему цивилизационному дискурсу: с какой стати кому бы то ни было понадобилось покинуть центр рисового государства и «бежать к варварам»? Страдающим от исторической близорукости можно было бы простить подобную ошибку, поскольку последние шестьдесят лет или около того *действительно* характеризуются бурным ростом городского населения, сконцентрированного в центральных районах стран, а также усилением контроля современных государств над горными территориями. Однако если

вернуться на тысячи и более лет назад, станет очевидно, что бегство от государства было столь же привычным, как и инкорпорирование в него. Оба процесса не отличались регулярностью: в истории прослеживаются серьезные колебания от практически полного опустошения рисового государства до его перенаселения.

Мотивы бегства из центра государства были многочисленны, но их можно условно классифицировать. Вопреки цивилизационному дискурсу, который исходит из имплицитной посылки, что все желали заниматься поливным рисоводством в долинах, но этому мешали хищнические государства, следует назвать и позитивные причины предпочтения подсечно-огневого земледелия и собирательства в горах. До тех пор пока существовал избыток свободных земель, что, собственно, характеризует реалии вплоть до недавнего прошлого, подсечно-огневое земледелие было более эффективным с точки зрения производительности труда, чем поливное рисоводство. Оно также гарантировало более вариативный рацион питания в природных условиях, которые способствовали более здоровому образу жизни. И наконец, в сочетании с собирательством и охотой на «продукты», которые высоко ценились на рынках долин и в международной торговле, подсечно-огневое земледелие обеспечивало более высокие доходы при относительно небольших затратах труда. Человек мог сочетать социальную независимость с выгодными торговыми обменами. Перемещение в горы или решение остаться, если вы здесь оказались, в большинстве случаев не предполагало обретения свободы ценой материальных лишений.

После демографических кризисов, следовавших за голодом, эпидемией или войной, если человек был достаточно удачлив, чтобы выжить, подсечно-огневое земледелие могло стать для него нормой и в прежде занятой рисовыми полями долине. Соответственно, сопротивляющееся становлению государственности пространство не было некоей конкретной точкой на карте — это, скорее, результат позиционирования по отношению к власти: безгосударственное пространство могло быть создано успешным неповиновением, изменением сельскохозяйственной технологии или непредвиденными стихийными бедствиями. Его социальное устройство могло значимо варьировать от жесткого контроля до относительной автономии, в зависимости от степени досягаемости для рисового государства и сопротивления ему потенциальных подданных.

Что касается реальных масштабов бегства населения, то следует различать медленный, по крупицам, постоянный отток недовольных год за годом и массовый исход в случае крупномасштабных событий. В первой категории увеличение гнета налогов и барщины в угоду амбициям правителя могло породить устойчивый исход разоренных подданных в места, недоступные для верховной власти. Религиозные раскольники, проигравшие стороны в придворных интригах, деревенские изгои, преступники и авантюристы также могли перемещаться в приграничные районы. Как будет показано позже, подобные мигранты легко поглощались горными сообществами.

Сложно сказать, что именно в конечном счете и прежде всего приводило к обезлюдению центральных районов страны — постепенный совокупный отток населения или кризисы, порождавшие его массовый исход. Первый, поскольку он был не особенно эффективным, запечатлен в основном в отчетах о налоговых поступлениях, а не в хрониках. Войны, голод, пожары и эпидемии — более важный для фиксации информационный повод, а потому эти

события чаще отражаются в летописях и архивах. Наряду с тиранией эти четыре явления формируют пять самых известных бедствий, упоминаемых в бирманских народных пословицах[436]. Именно они в первую очередь ответственны за широкомасштабные перемещения населения из одного государства в другое, за миграции из центра рисовых государств на границы верховной власти, а в горах — за перенос поселений.

Невозможно предсказать такие катастрофы, как войны, голод или эпидемии, как и невозможно заранее оценить их длительность или разрушительность. Любые подобные события мгновенно порождают беспорядочную и бурную панику и бегство. В то же время эти несчастья были настолько неотъемлемой частью жизни в доколониальной Юго-Восточной Азии, что можно представить, для сколь значительной части местного населения «катастрофы были повседневностью», — так и крестьяне во времена нехватки продовольствия знают, какие так называемые голодные продукты можно употреблять в пищу, чтобы выжить. Пространственное рассеяние, маршруты бегства и альтернативные хозяйственные практики могли составлять запас знаний на случай кризисов у большей части жившего в центре страны крестьянства[437].

Массовый отток населения, нередко в сочетании с восстаниями и бандитизмом, — вот чем наполнена доколониальная история большинства юго-восточно-азиатских государств. Мы должны отличать катастрофы, вынуждавшие жителей центра страны искать спасения — в другом государстве, в приграничных областях или в горах, — от сопротивления и бегства населения, которое до этого было насильственно инкорпорировано в государство амбициозной династией. Обе модели отчетливо прослеживаются в Северном Вьетнаме с XIV по XVI век. Засухи, восстания и вторжения с 1340 по 1400 год вели к исходу выращивающего поливной рис населения из дельты Красной реки. Оценки сокращения его численности варьируют в диапазоне от 0,8 до 1,6 миллиона человек, и многие беглецы, скорее всего, устремились в горы. В начале XVI века восстановивший демографическую мощь центр государства предпринял попытку расширить свою власть на «горные вьетнамские районы к западу, северу и северо-востоку от столицы». Череда мятежей, ряд из которых возглавили чудотворящие адепты буддизма и даосизма, стала решительным препятствием на пути реализации этих планов и вынудила тысячи жителей бежать, в том числе дальше в горы. Королевский двор Сиама в начале XIX века столкнулся со столь же жестким сопротивлением, когда попытался установить контроль над южными районами Лаоса, начав татуировать налогоплательщиков (политика «раскаленного железа»), подняв размеры барщины и «санкционируя и поощряя массовое порабощение жителей нагорий и племенных народов»[438]. Когда мятежи были подавлены, вероятно, желавшие избежать поглощения государством устремились в горы, а опасавшиеся охотников за рабами отступили в самые отдаленные горные районы, чтобы оставаться недосягаемыми для работоторговцев. Начиная с монгольских вторжений XIII века и на всем протяжении XV века Верхняя Бирма переживала периоды страшного хаоса и голода, в течение которых, как отмечает Майкл Онг-Твин, «крупные группы населения перемещались из традиционно защищенных районов в анклав безопасности»[439]. Куда именно направлялись беглецы, неясно, но значительная их часть могла рассеяться по близлежащей периферии династического правления, которая в большинстве своем была горной территорией. Только в XIX веке дельта Иравади в Нижней Бирме, изначально бывшая местом спасения, стала типичным пунктом назначения бегущих из центра бирманской государственной власти.

Учитывая фрагментарность имеющихся доказательств, осмелимся на одну-две догадки об особенностях колебания численности административно контролируемого населения в центре рисового государства и за его пределами. О точки зрения удаленности от династической власти можно представить себе некий континуум, в качестве конечных точек которого выступают: полностью подконтрольное выращивающее рис население в центре государства, с одной стороны, и живущие на недоступных для государства горных хребтах строители частоколов — с другой. Жители приграничных районов и близлежащей горной периферии заняли бы на нашем континууме промежуточные позиции. Схематично и гипотетически имеет смысл предположить, что, будучи осажденным, население сначала перемещалось в ту безопасную зону, что находилась ближе всего. Соответственно, жители центра страны в случае угрозы войны или голода бежали на границы этой зоны. Те, кто жил в этих приграничных районах, могли сначала попытаться отгородиться от проблем центрального региона, прекратив платить ему налоги и защищая свою жизнь и собственные интересы[440]. Если эта стратегия не срабатывала, то они, в свою очередь, устремлялись во внутренние районы страны или в горы. Жители гор, если сталкивались с расширением государственной власти в форме прямого управления или рабовладельческих набегов, могли бунтовать или бежать, или бунтовать, а *потом* бежать — дальше в глубину страны или выше в горы[441]. Каждая из описанных групп в случае опасности предположительно перемещалась на одну градацию континуума, чтобы оказаться на следующей по отдаленности от государственного контроля позиции. Если в центре государства складывались благоприятные условия, то запускался обратный процесс — перемещения поближе к столице, чтобы воспользоваться предлагаемыми ею торговыми и социальными возможностями.

Оливер Уолтере пишет о *concertina* — «гармошкообразных» государствах-мандалах Юго-Восточной Азии; мы можем расширить эту метафору на население мандал — то приближающееся, то отдаляющееся от центра верховной власти, в зависимости от гарантируемого ею баланса опасностей и вознаграждений. Способность циклически перемещаться внутрь и за пределы досягаемости государства, между относительной свободой и государственностью зависела от наличия больших открытых границ и доступности социальной структуры и хозяйственных практик, которые позволили бы занять новую нишу. Но, собственно, была ли эта ниша абсолютно новой? Как только мы вспомним, что огромную долю населения составляли пленники и их потомки и многие из них были насильственно вывезены из горных районов, то, видимо, для некоторых из них бегство из государства было подобно возвращению домой.

Сопротивление расстояния: государства и культура

“ Ничто не сравнится по сложности с завоеванием людей [игоротов], у которых нет никаких потребностей и чьи защитные бастионы — леса, горы, непроходимая дикая, местность и высокие обрывы.

И доколониальные, и колониальные чиновники прекрасно понимали, что препятствия на пути завоевания отдаленных горных территорий были труднопреодолимы. Сочетание мобильного и в целом враждебного населения со сложной топографией означало, что даже карательная экспедиция, не говоря уже о военной оккупации, была рискованным предприятием. Вот как описывает одну подобную кампанию Хроника Стеклянного Дворца: «Махаупаяза и король Авы, которым было приказано преследовать собву (шанского князя) из Могаунга, были призваны обратно, ибо было установлено, что преследователи не могли продолжать погоню, не испытывая страшных трудностей в горной стране, где проходы были заблокированы снежными заносами, а туман и мгла не рассеивались до полудня»[442]. Скотт, ведя более подготовленную кампанию по «умиротворению» в Северной Бирме в конце XIX века, отметил влияние трудностей передвижения войск на время, необходимое для подчинения района: «Там, где были огромные территории нерасчищенных лесов, мили заболоченных земель и в воздухе витала малярия, или где запутанные заросли колючих низкорослых джунглей и овраги позволяли дакойтам (бандитам) безопасно укрываться, [подобные районы] не удавалось усмирить в течение одного-двух лет и даже дольше»[443]. Французам во Вьетнаме было не легче. Доклад 1901 года предупреждает о сложностях контроля инакомыслия и подавления беспорядков в горных районах, защищенных и «укрытых отвесными скалами и практически непроходимым лесом»[444].

Конечно, приведенные цитаты — это восприятие горных районов равнинными государствами. Тем, кто бежал в горы, все перечисленное казалось несомненным преимуществом, которое можно было использовать в своих интересах. Можно было, что и делали игороты, перекрывать горные проходы и в случае необходимости отходить все глубже и глубже в горы. Здесь в целом легче вести оборонительные войны, и здесь множество мест, где небольшая группа может сдерживать намного превосходящие ее силы. Самые глубокие укромные уголки в горной зоне, где достигается максимальный кумулятивный эффект сопротивления расстояния контролю со стороны ближайшего властного центра, наименее подвластны прямому государственному контролю. В подобных местах выражение «прочный, как скала» обретает почти буквальное значение. По мнению британцев, «дикие» ва между Таиландом, Китаем и государствами на востоке Шанского нагорья жили именно в такой зоне. Карты начала столетия не могли отразить для колониального офицера фактическую сложность рельефа, где основные горные хребты «были пересечены острыми изогнутыми вершинами»[445]. Даже сегодня ва — примерно два миллиона человек от силы — «живут, несомненно, в одном из последних великих горных диких мест в современном мире»[446].

Степень сложности ландшафта нельзя оценить, просто взглянув на топографическую карту, поскольку в значительной степени эта сложность социально проектируется и модифицируется в целях усиления или минимизации сопротивления. Поэтому британские успехи в расширении контроля и власти на горные районы обусловлены логикой развития технологий, сокращающих расстояния: строительством мостов и всепогодных дорог, вырубкой лесов, созданием точных карт и телеграфа. Передовые методы дефолиации, вертолеты, самолеты и современная спутниковая фотосъемка еще больше нивелировали сопротивление местности. В итоге оно не возникает «где-то там» неким механическим

образом, а постоянно конструируется для различных целей. У тех, кто хочет максимизировать трудности преодоления расстояния, в распоряжении имеется множество разнообразных стратегий: уничтожение мостов, нападение из засад или установка мин-ловушек на перевалах и в узких ущельях, возведение завалов на дорогах, обрыв телефонных и телеграфных проводов и т. д. Значительная часть литературы, посвященной партизанской войне (но не приемам сбора разведывательной информации), описывает способы, с помощью которых можно изменять ландшафт в свою пользу.

Военная логика, определяющая сложность преодоления расстояния, лежит и в основе социального и культурного влияния. Схематичная реконструкция его последствий позволит осветить некоторые социальные различия горных сообществ и рисовых государств. Многие основополагающие культурные влияния в Юго-Восточной Азии имели экзогенный характер — были привнесены морскими торговцами. Врахманический индуизм, буддизм и, позднее, ислам оказались здесь похожим образом. С побережья, куда они прибывали, эти влияния, как правило, распространялись вдоль основных торговых артерий и траекторий перемещений населения в долинах и бассейнах рек — их переносили всё дальше и дальше жители равнинных государств по привычным для себя маршрутам. Можно представить себе этот процесс как серию кадров замедленной киносъёмки, показывающей, что культурные идеи распространялись легко и быстро по территориям с минимальным сопротивлением ландшафта и максимальными объемами передвижений населения.

Обратите внимание в этой связи, что районы с высоким сопротивлением ландшафта — болота, топи, ущелья, скалистые горы, пустоши, пустыни, — даже если располагались близко к центру государства по прямой, в основном оставались относительно недоступными зонами, а потому отличались политическим и культурным своеобразием. Если скорректировать время распространения культурных влияний с учетом вертикальности подъема и высотности расположения над уровнем моря в случае крупных горных массивов, можно понять, как развивались определенные типы культурной стратификации. Культура, связанная, скажем, с индо-шиваизмом, в результате государственной политики и в ходе торговых обменов «передвигалась» с побережья по водным путям и через пахотные равнины. Те, кто по тем или иным причинам не принимал эту культуру, например анимисты, перемещались или вытеснялись в верховья рек, вглубь страны или за пределы государства. Представим теперь, что другая культура, буддизм или ислам, прибыла вслед за первой. Этот новый импульс, возможно, даже при поддержке верховной власти, мог вынудить тех, кто исповедовал индо-шиваизм и не желал воспринимать иную культуру, бежать в верховья рек, заставляя переселившихся сюда ранее беглецов-анимистов подниматься еще выше и/или уходить глубже во внутренние районы страны. Теперь легко понять, как сформировались феномены, подобные описанному ранее на примере гор Тенгер: происходило вертикальное оседание культурных импульсов, появившихся издалека, — старейшие (и глубоко укорененные) оказывались на самых больших высотах, а новейшие (самые поверхностные) — на равнинах. На деле, конечно, принципы миграции культурных влияний намного сложнее, и в XX веке христианские миссионеры в материковой части Юго-Восточной Азии, так сказать, «перескочили» сразу в горы. Что приведенная весьма приблизительная схема действительно позволяет понять, так это почему народы, живущие в высокогорных и самых отдаленных районах, наименее доступных контролю государства, могут обладать развитой культурой, а также, в некотором смысле, исторически

обусловленной стратификацией[447].

Мини-зомии — засушливые и влажные

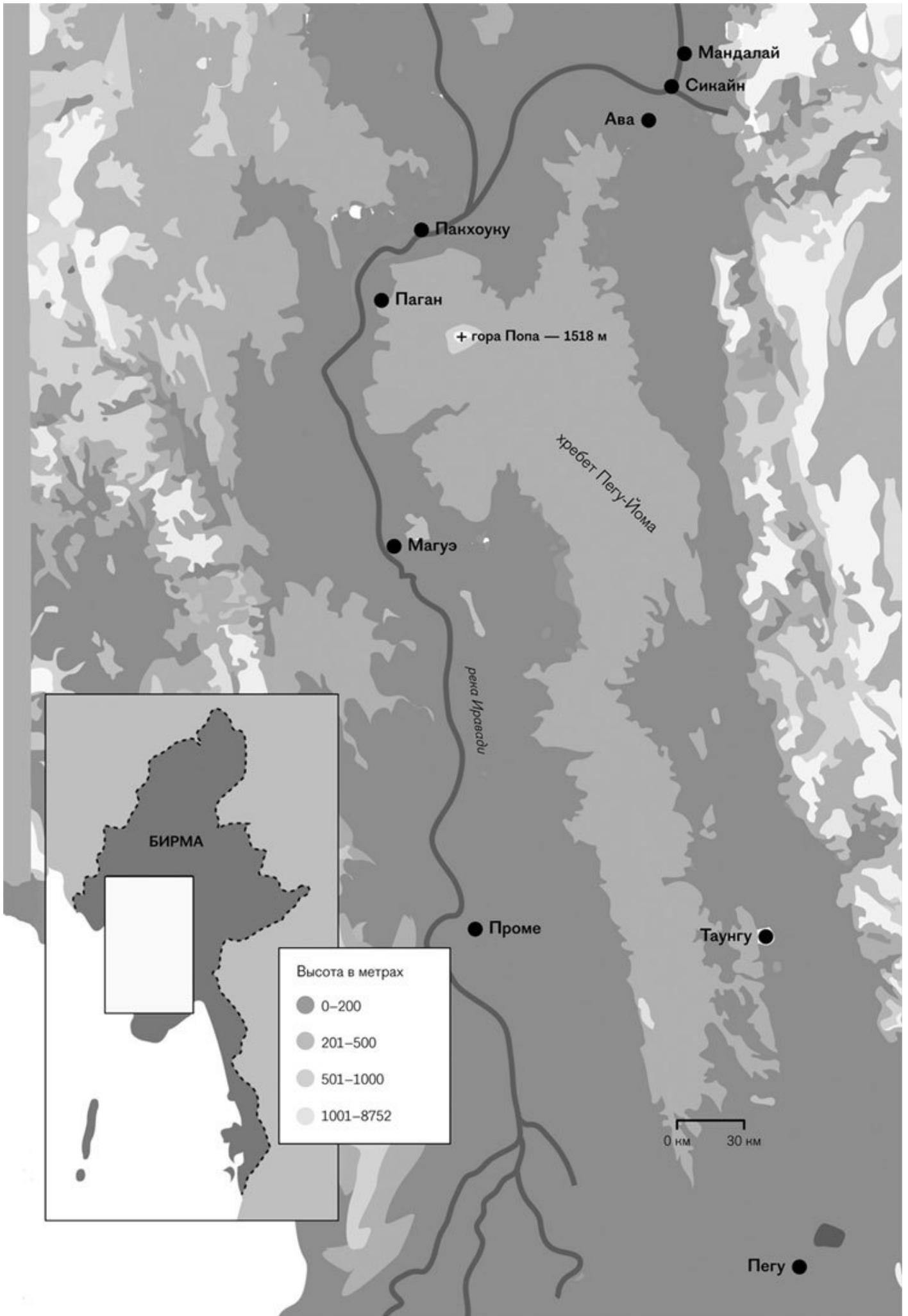
До этого момента мы фокусировались на обширной территории, объединяющей несколько сопредельных горных районов, которую было решено назвать Вомией. Но трудности преодоления расстояния, зоны бегства и сопротивляющиеся контролю государства топографические элементы, пусть и в меньших масштабах, существуют и в других географических точках. Один из исторически значимых примеров — Пегу-Йома в Бирме, четырехсоткилометровый поросший лесами горный хребет от шестидесяти пяти до двухсот километров шириной, который проходит через сердце Бирмы, служа водоразделом между бассейнами рек Иравади и Оиттанг (Оитаун).

Будучи ближайшей к богатым долинам территорией, сопротивляющейся контролю государства, Пегу-Йома в течение длительного времени служил редутом для беглецов, повстанцев и бандитов. Его густые леса, скрытые долины и прежде всего близость к процветающим деревням, выращивающим рис, позволили сэру Чарльзу Кростуэйту написать, что «ни один дайкот и помыслить не мог лучших условий»[448]. Однако, будучи местом произрастания последних огромных тиковых лесов, ключевого доходного товара колониальной Бирмы начала XX века, Пегу-Йома манил выгодами своего контроля. Несмотря на затраченные ресурсы, горный тракт ускользал из рук британцев в ходе второй англо-бирманской войны (1885–1887), затем в годы восстания Оая Сана (1930–1932) и окончательно и бесповоротно был утрачен ими в начале Второй мировой войны. После нее и примерно в течение тридцати лет до 1975 года Пегу-Йома был основной базой коммунистических мятежей на севере страны и каренских восстаний на юге, которые почти сбросили правительство в Рангуне. Этот район гарантировал такую высокую степень защиты мятежникам, что Коммунистическая партия Бирмы (КПБ) воспринимала его как свою «провинцию Юньнань» и назвала центральную марксистско-ленинскую школу в честь его несокрушимой твердыни «Золотой город Пекина»[449]. Когда эта местность была окончательно освобождена, и КПБ, и Каренская национальная объединенная партия (КНОП) утратили свою последнюю базу в поразительной близости от центральной долины и правительства. Несмотря на свое немногочисленное население, Пегу-Йома заслуживает отдельной главы в любом описании сопротивляющихся государству пространств в Бирме[450].

Гора, или потухший вулкан Попа на северной оконечности Пегу-Йома, сегодня важная буддийская святыня и место паломничества, вплоть до недавнего прошлого была известным центром сопротивления государству. Будучи расположен к юго-западу от Мандалая, между Мейтхилой и Чау, этот крутой горный пик высотой полторы тысячи метров окружен отрогами с ущельями и низкорослыми джунглями. Будучи не настолько большой, чтобы стать основной зоной бегства или революционной базой, гора Попа находится в достаточной близости от торговых путей и равнинных городов, чтобы служить пристанищем бандам и ворам крупного рогатого скота. Одна из таких преступных шаяк продержалась здесь целых десять лет уже после британской аннексии[451]. Попа была лишь одной из сотен географических точек, которые британцы называли твердынями, — их сложно было

завоевать и удержать. Подобные цитадели сопротивления укрывали претендентов на королевский трон, еретические лесные секты, повстанцев и бандитов. У каждой из них была особая история превращения в место сопротивления государству, и все, кто стремился по тем или иным причинам дистанцироваться от него, знали о подобных прибежищах. Что их все объединяло, так это изумительные географические условия, способствовавшие обороне и отступлению, а также немногочисленное и мобильное население с устойчивыми традициями безгосударственной жизни.

Полный перечень цитаделей сопротивления государству содержал бы не меньше страниц, посвященных влажным низменностям — топям, болотам, трясинам, торфяникам, дельтам рек, мангровым побережьям, сложным водным системам и архипелагам, — чем высоким горным рудутам. Поскольку подобные неподдающиеся и сложные в управлении районы, как правило, располагались вблизи богатых рисоводческих регионов, фактически они представляли ту же или даже большую угрозу политической власти равнинных государств, только на низких высотах над уровнем моря. Цзясин, к югу от дельты Янцзы, в начале XVII века был именно таким источником социальной нестабильности. Лабиринт ручьев и водных потоков создавал практически непреодолимые проблемы для политической власти. Префект, назначенный управлять этим районом, написал: «Эти крупные потоки поглощаются озерами, заболоченными территориями, заливами и водоемами в расширениях русел рек, образуя необъятное пространство, растянувшееся на бесчисленные километры. Это пристанище для бандитов со всех уголков страны — отсюда они появляются и здесь же они растворяются»[452].



Карта 7. Высоты горного хребта Пегу-Йома

Заболоченные территории создают вокруг государственных центров естественный защитный периметр, как в случае с Венецией и Амстердамом, но они же могут служить убежищем для повстанцев, бандитов и их водных собратьев — пиратов. Великий китайский классический труд «Водный предел» XIII века — отчет о лихой жизни опальных и обманутых чиновников и множества верных им бандитов на болотах[453]. Другое огромное болото с еще более внушительной и зафиксированной в преданиях историей (более трех тысячелетий) — аллювиальные марши Месопотамской низменности между Тигром и Евфратом (сегодня это ирако-иранская граница). Эта болотистая низменность площадью пятнадцать тысяч квадратных километров, которая меняет свои очертания от сезона к сезону, вплоть до недавнего прошлого была приютом для значительного по численности населения, живущего на плавучих островах достаточно далеко от любых форм государственности. Уилфред Тезигер, путешественник, чья книга «Болотные арабы» впервые обратила внимание англоговорящего мира на этот особый образ жизни, отметил, что болота, «с их запутанным лабиринтом зарослей тростника, где можно передвигаться только на лодках, должно быть, с незапамятных времен предоставляли убежище остаткам побежденных народов и были центром беззаконий и мятежей»[454]. Этот лабиринт неразличимых (для непривычного глаза чужака!) водных путей, подверженный сезонным изменениям, обеспечивал своим мобильным обитателям решительное преимущество перед любым незваным гостем. Радикальным средством борьбы с этой, как и любой другой подобной территорией сопротивления, было осушение болота и уничтожение данного места проживания раз и навсегда. Великий проект расширения государства был в конце концов претворен в жизнь Саддамом Хусейном после огромных потерь на этих территориях в ходе ирано-иракской войны. Осушение болот и топей — окончательное решение, недоступное правителям в борьбе с горными убежищами, — всегда мотивировалось, в первую очередь, каковы бы ни были другие его цели, уничтожением оплотов сопротивления и бунта[455].

В Северной Америке под управлением белых поселенцев болота, как горы и границы, были убежищем мятежников и беглецов. Осминолы со своим вождем Оцеолой, объединившись с беглыми рабами, в течение семи лет вели арьергардные бои против федеральных войск, стремившихся реализовать политику Эндрю Джексона по изгнанию индейцев[456]. Великое мрачное болото на восточной границе штатов Виргиния и Северная Каролина служило приютом для тысяч беглых рабов в течение нескольких поколений, будучи расположено «прямо посередине самого убежденного рабовладельческого сообщества на Юге»[457]. Рабы пополняли ряды белых отступников, южан, скрывающихся от военного призыва, дезертиров, бегущих от закона, самогонщиков, охотников, контрабандистов и трапперов. «Великое мрачное» болото, как и болото в «Водном пределе», упоминается в художественной литературе — в поэме Лонгфелло «Невольник в Проклятом болоте» и романе Гарриет Бичер-Стоу «Дред: история о Проклятом болоте» (1856). Как и в случае с прибежищем болотных арабов, неоднократно раздавались призывы осушить Великое мрачное болото, потому что оно позволяло «самому низкому сорту» людей обретать свободу и независимость[458].

Природа побережий, особенно в Юго-Восточной Азии, также предоставляла укрытия повстанцам и тем, кто бежал от государства. Выло почти невозможно контролировать

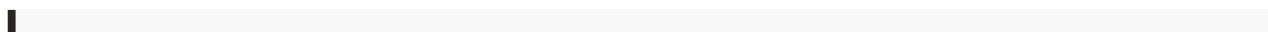
изменчивые дельты главных рек материковой части Юго-Восточной Азии (Меконга, Чао Прая, Иравади), изрезанные бесчисленными приливно-отливными течениями и лиманами, и управляться местным населением. Власти, даже весьма влиятельные, не могли состязаться с беглецами, которые знали эту залитую водой местность вдоль и поперек и могли в мгновение ока здесь скрыться. Обеспокоенные наличием географических зон, где могли прятаться революционеры, французское и проамериканское правительства Сайгона считали необходимым следить за горами и заболоченными низменностями. «Центральное нагорье и болотистые равнины в западной части дельты Меконга [на рукаве Вассак] были двумя основными стратегически важными регионами, считавшимися уязвимыми для проникновения коммунистов»[459]. В ходе восстаний против бирманского правительства карены воспользовались всеми преимуществами «непроходимой зоны, состоящей из огромных мангровых болот, лесных массивов, мутных рек и скрытых бухт, где правительственные войска были вынуждены передвигаться медленно и осторожно»[460].

Мангровые заросли, с их невероятно извилистыми проходами, невозможно преодолеть тому, кто не прожил в них много времени, и, вероятно, потому они представляют собой почти идеальное место для бегства. Как спасительному убежищу им просто нет равных. «Извилистые каналы и ручьи, забитые илом и перегороженные песчаными отмелями, здесь исчезают из поля зрения за скрывающей их стеной растительности, а узкий проход в мангровом лабиринте полностью перегорожен ветвями и длинными листьями *nip ah* (пальм нипа)»[461].

География, способствующая сокрытию и бегству, благоприятствовала и набегам. Мангровые леса располагались вблизи судоходных путей, ровно так же как Пегу-Йома соседствовал с процветающими долинами. Налетчики могли выскакивать из мангровых зарослей и мгновенно вновь в них скрываться, совершая набеги на корабли, грабя прибрежные поселения и захватывая рабов. Подобно викингам, морские цыгане вели «земноводный» образ жизни, будучи одновременно торговцами и грабителями. Как и у викингов, у морских цыган были быстроходные *perahu* (пераху — парусные лодки) с малой осадкой, позволявшие им скрываться вверх по течению небольших рек, где не могли пройти крупные морские суда, и грабить селения по ночам с незащищенной стороны, куда нужно было подплывать против течения. Благодаря мангровым зарослям морские цыгане некоторое время считались основной угрозой голландской и британской морской торговле в Юго-Восточной Азии. Даже сегодня их вооруженные до зубов прямые потомки на моторных лодках досаждают огромным танкерам, курсирующим в Малаккском проливе[462].

Как и горы, болота, топи и мангровые леса были зоной бегства и потенциальными укрытиями, откуда можно было совершать набеги. Но прежде всего это были территории почти полной безгосударственности, где укрывались люди, по тем или иным причинам желающие уклониться от государственного контроля.

Переход к варварству



Мы знаем, что некоторые живущие на границе китайцы встали на уже знакомый им, путь дивергентной эволюции [кочевого скотоводства] и что Великая стена была построена именно для, того, чтобы одновременно удержать китайцев в Китае, а новый тип варваров — за пределами Китая

— Оуэн Латтимор. Роль границ в истории

Согласно древним историям и равнинным народным преданиям о меньшинствах, проживающих в тех или иных районах, они были первыми коренными обитателями этих мест и именно их потомки заселили долины. Сегодняшние нарративы историков и этнографов, изучающих ныне живущие в Вомии меньшинства, часто изображают их как мигрантов, оставивших после своего ухода с равнин сказания о поражениях, преследованиях и маргинализации. Как правило, все их объединяет рефрен несправедливых гонений. Этот нарратив сохраняется благодаря двум предположениям. Первое: все горные народы предпочли бы быть земледельцами на равнинах, многие из них когда-то прежде жили здесь, но были вынуждены, скрепя сердце, переселиться в горы под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. Второе: все они хотели бы избежать стигматизации в качестве «варваров» и отсталых, но варварство — логическое следствие их бегства. Так как, по стандартам равнинных государств, цивилизованные люди — это выращивающие поливной рис и исправно платящие налоги подданные, то изменение данного состояния, будь то перемещение в недоступные для государства места или переход к иным хозяйственным практикам, самим своим фактом приравнивается к утрате цивилизованности.

Если здесь мы остановимся, считая, что все действительно обстояло именно так и никак иначе, то упустим из виду важный момент — интенциональность, движущие силы миграций. При наличии открытых границ и возможности торговать с поселениями в долинах жители горных районов вели относительно благополучную жизнь с небольшими затратами труда, не говоря уже о свободе от уплаты налогов и отработки барщины. Латтимор отмечал, что многие скотоводы на северных и западных границах Китая были прежде земледельцами разного происхождения, «которые решили вырваться из нищеты крестьянской жизни и заняться более надежным скотоводством», поэтому переход к подсечно-огневому земледелию и собирательству на возвышенностях часто был добровольным и обусловлен личными экономическими интересами[463]. А если к этому добавить возможность оставлять себе больше урожая и распоряжаться собственным трудом, то позитивная мотивация даже исключительно материального толка могла быть очень действенной для дистанцирования от государства.

Поскольку переход к горному образу жизни в глазах равнинных государств всегда ассоциировался с резким падением социального статуса, они и помыслить не могли, что таковой может осуществляться добровольно. В восприятии жителей долин горное население было либо аборигенным и ни разу не столкнувшимся с цивилизационным воздействием, либо — и тогда отношение к нему было более сочувственным — когда-то давно насильственно изгнанным из долин. Прекрасно осознавая презрительное к себе отношение, многие племенные народы в устном эпосе объясняют свое нынешнее географическое местоположение и статус сочетанием гонений, преследований и

игнорирования. Тем не менее очевидно, что все горные группы вобрали в себя значительное число «перебежчиков» из оплотов цивилизации, включив их в свои генеалогии. Многие из них были ханьцами, которые сочли для себя выгодным и удобным оставить китайскую цивилизацию и уйти в горы. Как мы уже увидели, в династических автопортретах в хань-конфуцианском искусстве государственного управления не оказалось места для подобных контрнарративов, и это вполне логично. Вот почему Великая Китайская стена (стены) и возведенные против мяо стены в провинции Хунань провозглашались защитой от варваров, хотя в действительности их, несомненно, возводили, чтобы удержать платящее налоги, оседлое, земледельческое население в пределах государственных границ. Как показал Магнус Фискесье, «многие воображаемые варвары прошлого и так называемые мятежники мяо [в середине XIX века] на самом деле были простыми китайцами, бегущими от налоговых обязательств или уголовной ответственности, грозящих им в основной части страны»[464]. Торговля, поиск свободных земель и женитьба — вот иные причины, почему ханьцы и другие мигранты могли счесть для себя целесообразным присоединиться к горному сообществу. Оамомаргинализация, или «самооварваривание» в терминологии равнинных государств, порой была широко распространена, но цивилизационный дискурс утверждал немислимость подобного поведения[465].

Если группы действительно отказывались усваивать культуру и образ жизни равнинного государства, если взамен сознательно предпочитали физически и культурно дистанцироваться от цивилизации, то нам следует выработать такой способ описания происходящего, который определял бы отказ от жизни в государстве как результат утраты его благорасположения или попадания в опалу. Джеффри Веньямин, пытаясь обозначить, как горные народы в полуостровной части Малайи позиционировали себя — в экологическом, экономическом и культурном плане — по отношению к малайскому государству, придумал понятие «диссимилиация»[466]. Диссимилиация (не путать с притворством) — процесс более или менее целенаправленного создания культурной дистанции. Она может включать в себя появление и поддержание лингвистических расхождений, несовпадающих версий истории, различий в стилях одежды, погребальных и брачных обрядах, обустройстве дома, формах земледелия и высотности проживания над уровнем моря. Все эти культурные маркеры призваны дифференцировать группу от одной или большего числа других групп, а потому неизбежно имеют относительный характер. Диссимилиация порождает претензии на занятие конкретной ниши в общей экономической системе гор и равнин, например ниши «собирателей в лесах, которые не прикасаются к плугу». Если диссимилиация настойчиво утверждается в течение определенного времени и тщательно продумывается, то, конечно, ведет к этногенезу, который станет предметом нашего рассмотрения в главе 7.

Однако в заключительном параграфе этой главы, в рамках истории миграций из государственных центров, следует подчеркнуть наиболее важные аспекты диссимилиации для многих горных народов. Ее ключевой компонент — утверждение «Мы — безгосударственные люди. Мы живем в горах, занимаясь подсечно-огневым земледелием и собирательством, потому что мы сами решили жить на расстоянии от равнинного государства».

Независимость как форма идентичности избегающих государства народов

Для многих горных народов диссимилиация, как процесс проведения четких различий между двумя разными обществами, означала буквальное, то есть пространственное дистанцирование от равнинных государств. В некотором смысле она была сверхдетерминирована, даже тавтологична. Представьте, например, растянувшуюся во времени миграционную волну. Небольшое по численности или слабое в военном отношении сообщество в долине, скажем, терпит поражение или сталкивается с порабощением или, что более вероятно, с тем и другим одновременно. Одна часть этой окруженной со всех сторон группы решает остаться, покоряется своей участи и со временем ассимилируется. Другая часть предпочитает сняться с места и перемещается во внутренние районы страны или в горы, чтобы сохранить независимость, пусть даже за счет изменения образа жизни. Предположим, что наша группа имеет название — пусть это будут «жаворонки». Те из них, кто решит остаться, окажутся поглощены доминирующей равнинной культурой, хотя и оставят в ней отчетливый отпечаток, — они больше не будут «жаворонками», а станут «китайцами», «бирманцами», «сиамцами», «тайцами». Множество решивших сняться с места также очень изменится (возможно, даже радикально!), но останется известно как «жаворонки»; более того, важным аспектом их исторической памяти будет эмиграция из равнинного государства, а для него «жаворонки» станут сбежавшим и скрывающимся народом. Если этот процесс повторяется неоднократно, то уклонение от государственной власти может превратиться в основополагающую характеристику народа.

Схематично именно так ряд этнографов и историков описывают типичную модель поведения мяо/хмонгов, особенно в последние три столетия восстаний и бегств. Николас Тапп называет ее бифуркацией (раздвоением). С одной стороны, существовали «приготовленные» (shu) мяо, или «китайцы-мяо», которые приняли китайскую верховную власть, китайские имена и оседлое земледелие на постоянных полях, — большинство из них со временем были поглощены ханьской культурой. С другой стороны, были «сырые» (sheng) мяо, или «мяо-мяо», которые переместились (или остались) в высокогорьях, занимаясь подсечно-огневым земледелием и набегами на почтительном расстоянии от китайского государства[467]. Другой исследователь истории мяо/хмонгов полагает, что, «когда хмонги страдали от нехватки земли, отсутствия леса, чрезмерных или несправедливых налогов и злоупотреблений различных чиновников и землевладельцев, большинство из них пытались приспособиться к новой ситуации. Некоторые восставали и были готовы бороться, а другие предпочитали переместиться в иной административный район или даже страну. Подобные миграции затронули лишь часть хмонгского населения — подавляющее большинство все же решало остаться на месте и приспособиться»[468]. По этой причине беглые безгосударственные хмонги, на жизнь которых наложили неизгладимый отпечаток их постоянное бегство и отказ «быть помещенными на карту» — некий пережиток прошлого. Большинство из тех, кого в историческом прошлом мы идентифицируем как хмонгов, были

поглочены ханьским государством в качестве своих граждан и потому исчезли как особая группа. Если мы также примем во внимание тот факт, что другие восстававшие и бежавшие вместе с ними народы вливались в ряды хмонгов, то этот пережиток будет иметь мало общего с хмонгами с генеалогической точки зрения, не говоря уже о генетической. Суть «хмонгскости» может в большей степени определяться общей историей мятежей и бегств, чем какими бы то ни было претензиями на исконные кровные узы.

Схожую идентификационную модель можно проследить у большинства (но не всех) горных народов Вомии. Ва, акха, лаху, лису, кхаму, палаунги, падаунги, ламеты и некоторые карены имеют схожую историю, в которой, часто после восстания, часть народа осталась, а часть сбежала в недоступные для государства места, по пути поглощая других мигрантов. Шаншан Ду убежден, что за последние три столетия лаху участвовали примерно в двадцати мятежах, после которых многие «остались на территориях ханьского имперского контроля, а часть мигрировала на юг в окраинные и горные районы после жестокого подавления восстаний»[469]. Сложная история каренов, особенно пво-каренов, имеет много аналогий. Объединившись с монами и, после падения Пегу в середине XVIII века, с сиамцами, карены нередко поглощались монскими, сиамскими, шанскими и бирманскими государственными образованиями. Многие из тех, кого мы сегодня знаем как каренов, — это те, кто решил скрыться или остаться в горах и вести жизнь безгосударственного, пусть и слабо защищенного, но свободного народа[470]. Большинство из считавших прежде себя каренами, лаху и хмонгами в историческом прошлом ассимилировались в сложносоставных равнинных обществах в качестве подданных государств, а их скрывшиеся потомки сохранили свою особую идентичность, для чего сконструировали истории бегства и безгосударственности[471].

Наиболее тщательно исследованный пример того, что можно обозначить как «бегство от государства как идентичность», — народ акха, описанный Лео Альтингом фон Гойзау. Насчитывая от силы 2,5 миллиона человек, включая хани (На Шп) на севере Вьетнама, акха говорят на тибето-бирманском наречии и в прошлом считались «черной костью» («сырыми», sheng), некитаизированными и-лоло. Сегодня они проживают на юге провинции Юньнань (Оишуанбаньна) и соседних территориях Лаоса, Бирмы и Таиланда. За последние два столетия их вытесняли все дальше на юг войны, рабство и поиск новых земель для подсечно-огневого земледелия. Два равнинных государства, с которыми они вступали во взаимодействие, — ханьское и тайское, хотя ханьги оказали более глубокое влияние на их культурные практики и верования.

Для нас самое главное, что акха воспроизводят сложные детальные (пусть и недостоверные) генеалогии, сохраняя свою историю с помощью сказителей (phima). Часть этой истории была записана. Зафиксированная или нет, она важна для понимания самооценки народа, для которого бегство и безгосударственность — определяющие характеристики. Акха верят, что первоначально они были горным народом, который постепенно перебрался на равнины и стал заниматься рисоводством, хотя, видимо, не в качестве подданных государства. Затем на юг провинции Юньнань прибыли тайские военные группировки, носители государственной власти, поглотили часть акха и вынудили остальных бежать в горы вместе с палаунгами и другими народами. Фон Гойзау утверждает, что эта версия согласуется с историей создания первого города-государства

(муанга) воином тай-лю Ба Чжэном в конце XII века, что привело к массовому оттоку с этой территории ее исконных жителей. Позже последовали монгольские вторжения, правление династии Юань в середине XIII века и экспансия государственной власти. О этого момента акха считают себя избегающим государства народом, выбирающим место жительства и повседневные практики таким образом, чтобы «не стать легкой добычей солдат, бандитов и сборщиков налогов»[472]. Но, несмотря на свое постоянное бегство, акха не стремились к генетической изоляции. Придерживаясь нежестких правил заимствования иного опыта и творчески относясь к конструированию генеалогий, они, как считает фон Гойзау, вобрали в себя тайцев и хань-китайцев наряду с другими горными народами, такими как лаху, палаунги, кхаму и ва.

Бегства и безгосударственность акха нормативно закодированы в их истории и космологии. Ключевая фигура их легенд — предполагаемый король акха XIII века Дзяубанг — провел перепись населения (знаковый для налоговой системы и государственного строительства ход!) и был умерщвлен собственным народом. Его сын Ванг Дзюи (по сути, аналог Икара) подлетел на волшебной лошади с крыльями, сделанными с использованием пчелиного воска, слишком близко к солнцу и погиб. Обе истории — формы предостережения относительно иерархии и формирования государства. Типичные шаманские целительные ритуалы, призванные вернуть странствующую душу в ее телесную оболочку, морально оправдывают уклонение от государства: «Путешествие в этот мир [духов], состоящий из девяти слоев, описывается как спуск с гор на равнины, где душа человека содержится в плену „в лабиринте дракона“ и приговорена пожизненно отрабатывать барщину или пребывать в рабстве. Чтобы вернуть человеку душу, шаманы должны были предложить свинью или другое крупное животное, например буйвола... что характерно для работорговли»[473]. Если мы обратимся к тому, что можно назвать религией акха, то здесь будет доминировать тот же принцип. Уважая профессионалов, обладателей длинной родословной и кузнецов, акха настаивают, что не верят ни в каких высших богов и в прямом смысле слова не склоняют голову ни перед кем. Сложно представить себе иной народ, чья устная история, жизненные практики и космология представляют собой столь продуманный и абсолютный отказ от государства и устойчивых иерархий.

Версия #2

Зверобой создал 17 апреля 2025 23:08:53

Зверобой обновил 17 апреля 2025 23:21:42